



УИЛЬЯМ

ГОЛДИНГ

ЗРИМАЯ ТЬМА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

18+

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Уильям Голдинг

Зримая тьма

«Издательство АСТ»

1979

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Голдинг У.

Зримая тьма / У. Голдинг — «Издательство АСТ»,
1979 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-120623-9

«Зримая тьма» — роман, которым в 1979 году Уильям Голдинг нарушил восьмилетнее литературное молчание и вернул себе статус «живого классика» литературы XX века. Это изысканная пародия на психологический роман, где так причудливо переплетаются три судьбы: Мэтти, в детстве изувеченного в страшной бомбежке, который становится пророком и олицетворяет свет; Софи — красивой, но обделенной вниманием отца девушки, прекрасного воплощения «хтонического зла», и учителя Педигри, из последних сил балансирующего на грани между добром и злом. Притчевые мотивы, присущие творчеству Голдинга, изощренно перемешаны с сатирическими, а вечное противостояние Света и Тьмы превращается в куда менее простой и очевидный поединок между тьмой зримой и незримой... Содержит нецензурную брань!

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-120623-9

© Голдинг У., 1979

© Издательство АСТ, 1979

Содержание

Часть 1	6
Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	24
Глава 4	32
Глава 5	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Уильям Голдинг

Зримая тьма

Sit mihi fas audita loqui¹.

¹ Да будет мне позволено высказать услышанное (лат.).

Часть 1 Мэтти

Глава 1

В Лондоне, к востоку от Собачьего острова, был район, который даже среди окрестных кварталов выделялся своей разношерстностью. Между прямоугольниками воды, окруженными стенами, между пакгаузами, железнодорожными ветками и мостовыми кранами протянулись две улицы убогих домишек с уютившимися среди них двумя пабами и двумя лавками. Туши грузовых пароходов нависали над домами, в которых звучало столько же языков, сколько жило семей. Но как раз сейчас говорить было почти некому – весь район официально считался эвакуированным, и даже вид подбитого и горящего корабля собрал совсем немного зевак. Над Лондоном высоко в небе висел шатер из бледных лучей прожекторов, утыканный черными точками аэростатов заграждения. Кроме аэростатов, прожекторы ничего в небе не находили, и казалось, что бомбы, сыпавшиеся на землю, таинственным образом возникают из пустоты. Они падали то в гигантский костер, то рядом с ним.

Люди у края костра могли лишь смотреть на неподвластное им пламя. Водопровод был разрушен, и единственной помехой на пути огня были попадавшие тут и там пепелища, выжженные дотла в прошлые ночи.

На северной стороне гигантского костра, рядом с изуродованной машиной, стояли несколько человек, замороженные зрелищем, которое даже им, людям бывалым, предстало впервые. Под шатром прожекторов в воздухе выросла новая структура, не столь четкая, как лучи, но намного более яркая – сияние, огненный сноп, на фоне которого тонкие лучи выглядели еще более тусклыми. Сноп обрамляли жидкие облачка дыма, подсвеченные снизу и от этого тоже казавшиеся пылающими. Сердце снопа, находившееся там, где раньше пролегали мелкие улицы, было светлым до белизны. Оно непрерывно дрожало, тускнея и снова разгораясь, когда рушились стены или проваливались крыши. И сквозь рев пламени, гул удаляющихся бомбардировщиков, грохот обвалов постоянно пробивались отдельные взрывы бомб замедленного действия: то вспышками над руинами, то глухими ударами из-под нагромождений обломков.

Людей, что стояли рядом с искореженной машиной у начала северной дороги, ведущей прямо в огонь, обезличивали общее молчание и неподвижность. Бомба, пробившая водопровод и изуродовавшая машину, оставила воронку ярдах в двадцати за ними. Из центра воронки, иссякая на глазах, еще бил фонтан, а длинный осколок бомбы, рассекший заднее колесо, лежал около машины и уже остыл настолько, что до него можно было дотронуться. Но люди не замечали ничего – ни осколка, ни фонтана, ни причудливых увечий автомобиля, ни многого другого, что в мирное время собрало бы толпу. Они смотрели прямо перед собой на сноп, в самое пекло. Команда стояла поодаль от стен, так что упасть на них могла только бомба. Как ни странно, это была наименьшая опасность их ремесла – среди рушившихся зданий, погребов-ловушек, вторичных взрывов газа и бензина, ядовитых испарений из дюжины источников ее можно было вовсе не учитывать. Война началась недавно, но они уже многое испытали. Один из них был погребен взрывом бомбы и освобожден следующей. Теперь он относился к бомбам с равнодушием, приравнивая их к явлениям природы, вроде метеоров, которые в определенное время года падают густым потоком. Некоторые в команде были добровольцами. Один пожарный до войны был музыкантом, и его слух приучился безошибочно распознавать звуки, издаваемые бомбами. От той, что разорвала водопровод и повредила машину, он успел

укрыться в последний момент – впрочем, вполне надежно – и даже не стал пригибаться. Сейчас его, как и всю команду, больше волновала другая бомба, упавшая дальше по дороге, между ними и огнем, вдавившись в грунт, – то ли бракованная, то ли замедленного действия. Он стоял у неповрежденного бока машины, глядя, как и все, на дорогу, и бормотал:

– Не радуется меня это, парни, ох не радуется.

Разумеется, не радовало это и остальных парней, даже командира, плотно сжавшего губы. То ли ему передавалось общее напряжение, то ли он так крепко стиснул челюсти, но подбородок у него дрожал. Подчиненные его понимали. Еще один доброволец – стоявший рядом с музыкантом книготорговец, который никак не мог поверить, что ходит в военной форме, – мог оценить, каковы их шансы на выживание. Когда как-то раз на него падала целая стена высотой в шесть этажей, он стоял в полном оцепенении и удивлялся тому, что еще жив. На него в точности пришелся один из оконных проемов пятого этажа. Как и остальные, он разучился говорить, что ему страшно. Все пребывали в состоянии привычного ужаса, когда жизнь зависит от завтрашней погоды, Замыслов Врага, относительного спокойствия или жутких опасностей следующего часа. Их командир без колебаний выполнял отданные ему приказы, но когда переданный по телефону прогноз погоды сообщал, что завтра налет невозможен, испытывал облегчение, доходящее до слез и судорог.

Итак, они стояли, прислушиваясь к гулу удаляющихся бомбардировщиков, – достойные люди, в которых сейчас пробуждалось чувство, что, несмотря на весь неопишуемый кошмар, еще один день жизни им обеспечен. Они смотрели на содрогающуюся улицу, и книготорговец, зараженный античной романтикой, сравнивал панораму доков с Помпеей; но Помпею ослепило пеплом, а здесь все было видно слишком отчетливо, слишком много бесстыдного, бесчеловечного света в конце улицы. Завтра тут останутся черные, мрачные, грязные разрушенные стены, слепые окна; но сейчас света было так много, что даже камни казались полудрагоценными, словно в каком-то адском городе. За сверкающими камнями, там, где скорее не билось, а трепетало сердце пожара, все – стены, краны, мачты, даже сама дорога – растворялось в опустошающем свете, как будто в той стороне плавилась и пылала сама основа мира со всем, что хоть как-то способно гореть. Книготорговец поймал себя на мысли, что после войны – если настанет «после войны» – придется снизить плату за вход на Помпейские руины, так как в очень многих странах появятся свои собственные свежее испеченные выставки развалин мирной жизни.

Короткий рев на мгновение заглушил другие звуки. Красный занавес пламени задрожал над белым сердцем пожара и тут же был поглощен им. Где-то взорвалась цистерна с горючим, или газ, скопившийся в угольном погребе, заполнил закрытое помещение, смешался с воздухом, достиг точки воспламенения... Наверняка так оно и есть, – подумал, как настоящий эрудит, книготорговец, чувствуя, что опасность пока миновала и можно понаслаждаться своей эрудицией. Как странно, – размышлял он, – после войны у меня будет время...

Он поспешно осмотрелся в поисках деревяшки, тут же нашел ее – кусок дранки от крыши, валявшийся рядом с ногой, – нагнулся, подобрал и отшвырнул прочь. Выпрямляясь, он заметил, как внимательно музыкант всматривается – именно всматривается, а не вслушивается – в огонь и снова бормочет себе под нос:

– Не радуется меня это, парни. Ох как не радуется...

– В чем дело, старина?

Все остальные тоже пристально вглядывались в пламя, сжав губы и затаив дыхание. Книготорговец обернулся, чтобы увидеть то, что видели они.

Неподвижное пламя, превращавшееся из бледно-розового в кроваво-красное и снова розовевшее, когда в него попадали дым или облачка, казалось извечным, словно такова была природа этих мест. Люди смотрели неотрывно.

В конце улицы – там, где, по всем человеческим представлениям, отныне заканчивался обитаемый мир, в точке, где мир превращался в жерло вулкана, где обрывки света сгущались, формируя то устоявший фонарный столб, то почтовый ящик, то причудливую гору обломков, – там, где кремнистая дорога превращалась в свет, что-то двигалось. Книготорговец отвернулся, протер глаза, снова посмотрел. Ему приходилось наблюдать, как оживают, попадая в огонь, неживые предметы: картон или бумага, подхваченные порывами ветра; материалы, съеживающиеся и распрямляющиеся от жара, имитирующие мускульные движения; накрытая мешком крыса, кошка, собака или опаленная огнем птица. Сразу же вспыхнула надежда, что это крыса – ну, или хотя бы собака. Он снова отвернулся, отгораживаясь спиной от того, чего упорно не желал видеть.

По странному стечению обстоятельств командир до сих пор ничего не заметил. Он не глядел на пожар; он глядел на подбитую машину, сдерживая дрожь подбородка. Его внимание привлекла подчеркнутая небрежность, с которой остальные один за другим отворачивались от огня. Те самые глаза, которые только что напряженно следили, как исчезает мир, теперь разглядывали банальные руины, оставшиеся от предыдущего пожара, и почти иссякший фонтан в воронке. Опыт и инстинкт, обостренные ужасом, заставили командира сразу же обернуться в сторону, противоположную их взглядам.

У самого конца улицы обрушилась часть стены, засыпав тротуар обломками – некоторые выкатились на мостовую. Один обломок с металлическим лязгом ударился об мусорный ящик на другой стороне улицы.

– Боже милосердный!

Тогда остальные снова обернулись.

Вдали затихал гул бомбардировщиков. Пятиметровой высоты шатер из белых лучей разом, в одно мгновение, исчез, но сияние колоссального пожара было по-прежнему ярким, кажется, стало даже ярче. Розовый ореол огня разросся. Шафрановый и золотистый оттенки сменились цветом крови. Пульсация белого сердца пожара ускорилась, перестала восприниматься глазом и превратилась в ровное, неистовое свечение. Высоко над сиянием, между двух столбов подсвеченного дыма, теперь стала видна стальная, безупречно круглая луна, луна влюбленных, охотников и поэтов, а сейчас древняя и суровая богиня получила новую должность и новый титул – луна летчиков. Она стала Артемидой бомбардировщиков, еще более безжалостной, чем прежде.

Книготорговец поспешно заметил:

– Там луна...

Командир свирепо перебил:

– А где, по-твоему, ей быть? На севере? Вы что, ослепли все? Я, что ли, должен все замечать? Туда смотрите!

То, что казалось невозможным и, следовательно, несуществующим, теперь стало для всех бесспорным фактом: на фоне содрогавшегося сияния обозначилась фигурка. Она двигалась точно по осевой линии дороги, которая вдруг стала длинней и шире, чем раньше. Потому что если она осталась такой, как прежде, значит, фигурка была до невозможности маленькой – до невозможности, поскольку детей первыми эвакуировали из этого района, а убогие разбомбленные улицы выгорели почти дотла, и ни одна семья просто не нашла бы здесь пристанища. Да и не бывает такого, чтобы из огня, который плавит свинец и корезит железо, выходили маленькие дети.

– Ну?! Чего ждете?

Никто не отозвался.

– Вы двое! Приведите его!

Книготорговец и музыкант двинулись вперед. На полпути с правой стороны улицы под пакаузом рванула бомба замедленного действия. Ее свирепая сила вздыбила тротуар на про-

тивоположной стороне дороги, ближайшая стена содрогнулась и рухнула в свежую воронку. Испуганные внезапностью взрыва, спасатели, спотыкаясь, бросились назад. Улица за их спиной исчезла в пыли и дыму.

Командир зарычал:

– А, черт!

Он бросился вперед, увлекая за собой других, и остановился только тогда, когда воздух расчистился и жестокий жар огня опалил кожу.

Фигурка приближалась к пожарным. Миновав свежую воронку, они разглядели ее совсем ясно. Ребенок был голым, и свет от многомильного пожара ложился неровными пятнами на его тело. Дети обычно ходят быстро; но этот малыш двигался по самой середине улицы каким-то ритуальным шагом, который, если бы речь шла о взрослом, можно было бы назвать торжественным. Командир, буквально разрываясь от жалости, увидел, почему ребенок шел именно так: его левый бок лоснился не от света. Еще более заметным был ожог на левой стороне головы, где от волос ничего не осталось; справа же они превратились в точки, похожие на перечные зернышки. Лицо ребенка настолько распухло, что дорогу перед собой он мог видеть только через крошечные щелочки. Вероятно, какой-то звериный инстинкт вел его прочь от места, где мир пожирался огнем, и только случай – счастливый или нет, кто знает? – направил малыша в единственном направлении, обещавшем жизнь.

Теперь, когда они оказались так близко, что ребенок перестал быть чем-то невозможным, а стал комком такой же, как они, человеческой плоти, их охватило отчаянное стремление помочь ему. Пренебрегая мелкими опасностями, которые могли таиться на улице, командир первым подбежал к ребенку и подхватил его уверенно и нежно. Один из пожарных, не дожидаясь приказа, поспешил в другую сторону, к телефону, до которого была сотня ярдов. Остальные плотно и неуклюже сгрудились вокруг ребенка, лежавшего на руках у командира, как будто их присутствие могло чем-то помочь. Командир, чуть-чуть запыхавшийся, был полон сострадания и счастья. Он начал оказывать обожженному первую помощь, правила которой врачи пишут заново чуть ли не каждый год. Всего через несколько минут прибыла санитарная машина, бригаде сообщили то небольшое, что было известно о ребенке, и машина укатила под завывание сирены, явно бесполезное.

Общее чувство выразил самый незаметный из пожарных.

– Бедный пацан!

И сразу же все с жаром заговорили о том, что это невероятно – когда из огня выходит малыш, совершенно голый, обожженный, но упорно стремящийся в ту сторону, где ждет спасение...

– Молодец пацан! Не потерял головы!

– Сейчас врачи творят чудеса. Видал тех пилотов? Говорят, теперь у них лица как новенькие.

– Левый бок у него малость съежится.

– Слава богу, мои детишки далеко отсюда. И женка.

Книготорговец ничего не говорил, взгляд его был направлен в пустоту. На краю его сознания маячило воспоминание, которое он не мог уловить и осмыслить; он возвращался к тому моменту, когда ребенок только что появился и казался его слабому зрению не вполне реальным – словно колебался, принять ли ему человеческую форму или остаться частью мерцающего сияния. Апокалипсис? Что может быть более апокалиптическим, чем мир, пожираемый свирепым пламенем? Но ничего определенного вспомнить не удалось. Затем его отвлекли посторонние звуки – музыканта рвало.

Командир снова повернулся к огню. Он смотрел на улицу, которая в конечном счете оказалась не такой жаркой, как они полагали, и не такой опасной; потом он переключил внимание на машину.

– Ну? Чего ждем? Нас отбуксируют отсюда, если смогут. Мэйсон, попытайся освободить руль. Уэллс, выходи из ступора! Проверь тормоза. И поживее да повеселее!

Уэллс, забравшись под машину, разразился залпом ругани.

– Хватит, Уэллс, тебе за это деньги платят!

– Да мне масло, едрить его, попало прямо в рот!

Взрыв хохота.

– Так ты поменьше рот разевай!

– Уэлси, как оно на вкус?

– Вряд ли в столовке хуже!

– Ладно, ребята, кончайте! Аварийка за вас работать не будет!

Командир опять повернулся к огню. Он смотрел на новую воронку, появившуюся на дороге. С математической точностью расставив по местам то и это, он отчетливо понял, как все произошло и как могло бы произойти, и где бы он находился, если бы бросился к ребенку, едва увидев его и поняв, что тому нужна помощь. Он успел бы добежать как раз до того места, где сейчас не было ничего, кроме ямы. Он оказался бы точно на месте взрыва и исчез бы навеки.

Из-под машины раздался лязг упавшей детали и новый взрыв ругани. Командир почти ничего не слышал. Ему казалось, что тело оледенело. Он закрыл глаза и какое-то время видел себя мертвым, или чувствовал себя мертвым; а затем понял, что жив, но только ширма, скрывавшая устройство мира, зашевелилась и сдвинулась. Потом его глаза опять открылись, увидели обычную ночь – если такую ночь можно назвать обычной, – и он догадался, что за холодок ползет по его коже, и подумал про себя с лукавой непосредственностью, свойственной его натуре, что не стоит слишком углубляться в подобные размышления, а малец все равно настрадался бы ничуть не меньше, и вообще...

Он обернулся к искореженной машине, увидел, что подъезжает тягач, и молча пошел навстречу, весь во власти необычайного горя – переживая не за изувеченного ребенка, а за себя, изувеченное существо, чей разум на мгновение прикоснулся к природе вещей. Его подбородок снова дрожал.

Ребенка назвали Номер Семь. Не считая некоторых необходимых процедур, выполнявшихся, пока он оправлялся от шока, седьмой номер был первым подарком, полученным малышом от внешнего мира. Была ли его немота врожденной, оставалось не вполне ясно. Слышать он мог – даже страшным на вид остатком левого уха, а опухоль вокруг глаз быстро спала, вернув мальчику способность видеть. Ему придумали положение, при котором не требовалось частых доз обезболивающих лекарств, и он проводил в нем дни, недели и месяцы. Несмотря на несовместимую с жизнью общую площадь ожогов, ребенок все-таки выжил и начал долгие странствия по больницам, подвергаясь одному осмотру за другим. К тому времени, как он начал произносить слово-другое по-английски, было уже невозможно выяснить, родной ли это для него язык или он набрался этих слов в больнице. У него не было иного прошлого, кроме пожара. В тех палатах, где он последовательно побывал, его называли «малыш», «крошка», «зайка», «пупсик», «солнышко» и «глупыш». В конце концов сестра-хозяйка, особа властная и влиятельная, решительно заявила:

– Нельзя без конца называть ребенка за глаза Номер Семь. Неприлично оно, не по-божески.

Она была сестрой-хозяйкой старой закалки, пользовалась именно такими выражениями и умела добиться своего.

Соответствующее учреждение перебирало одну за другой все буквы алфавита, ибо ребенок был одним из многих, лишившихся детства. Одну девочку здесь только что наградили фамилией Венэйблс. Юная острячка, которой велели придумать фамилию на дубль-вэ, пред-

ложила Виндап², припомнив вовсе не геройское поведение своего шефа во время воздушного налета. Выйдя недавно замуж и сохранив при этом работу, она чувствовала свою защищенность и превосходство над другими. Шеф поморщился и зачеркнул фамилию, представив себе, как ватага ребят станет вопить: «Виндап! Виндап!» Он сам придумал новый вариант, но остался не вполне удовлетворен и заменил его еще одним – безо всяких видимых причин. Просто имя, первым пришедшее ему на ум, будто выскочившее из пустоты, казалось недолговечным – словно он приметил его лишь потому, что оно, по счастливой случайности, свалилось ему прямо в руки. Так, бывает, притаишься в кустах, и вдруг – раз! – перед тобой садится редчайшая из птиц или бабочек, позволяет рассмотреть себя и исчезает – отлетает в сторону, что ли, – оставляя чувство, что больше ты никогда ее не увидишь.

В следующей больнице у мальчика появилось второе имя – Септимус, – но им почти не пользовались. Возможно, из-за созвучия со словом «септический». Его первое имя, Мэттью, превратилось в Мэтти, а так как во всех относящихся к мальчику бумагах по-прежнему писали Номер Семь, фамилия Мэтти никогда не упоминалась. Впрочем, еще долгие годы его детства любимым посетителям приходилось долго вглядываться, чтобы за простынями, бинтами и механизмами увидеть что-либо, помимо правой стороны лица.

Когда все бинты и повязки были сняты и Мэтти начал говорить чаще, стали заметными его необычные отношения с языком. Он чрезмерно артикулировал. При попытке говорить он стискивал кулаки и морщился, будто слово – это предмет, материальный, иногда круглый как мяч, который надо вытолкнуть изо рта, работая всеми мускулами лица. Были слова зазубренные, выходявшие с ужасными болезненными мучениями, над которыми другие дети смеялись. После того как в период между первичной терапией и пластическими операциями – теми, какие были возможны, – с Мэтти сняли тюрбан, вид его полубодранного черепа и остатков сгоревшего уха был крайне непригляден. Терпение и молчаливость казались основными чертами его натуры. Мало-помалу он учился преодолевать связанные с речью мучения, пока мячи для гольфа и зазубренные камни, жабы и жемчуга не стали выходить изо рта без особых усилий.

В бескрайних пространствах детства время было для него единственным измерением. Взрослым, пытавшимся наладить с ним связь, никогда не удавалось сделать это при помощи слов. Он вбирал услышанные слова, надолго задумывался, иногда отвечал – совершенно не попадая. Для контакта с ним нужно было отказаться от рассудочного метода. Нянечка осторожно обнимала его, не дотрагиваясь до тех мест, где малышу было больно, и более-менее неповрежденная сторона его головы зарывалась ей в грудь в бессловесном общении. Казалось, что его трогает то, что его трогают. Вполне естественно, что девушка не осмысливала свои дальнейшие ощущения, ибо они были чересчур тонкими, чересчур личными, чтобы называть их осознанием отличительных черт ребенка. Она не считала себя особенно умной или сообразительной, поэтому позволила этому осознанию существовать где-то в глубине и не обращала на него особого внимания, лишь понимая, что ей лучше, чем другим нянечкам, известна суть личности Мэтти. Она ловила себя на том, что мысленно произносит слова, которые для нее имеют совершенно иной смысл, чем для других.

«Вот Мэтти думает, что я могу находиться в двух местах сразу!»

Тут же она понимала, что смысл ее наблюдений рассеивается или лишается всякой точности из-за слов, в которые его произвольно облакает разум. Но понимание возникало слишком часто и сложилось в систему, которая в своем роде определяла для нее сущность Мэтти.

Мэтти думает, что я – не один человек, а два.

Потом еще более личное – *Мэтти думает, что я привожу кого-то с собой.*

Ее душевная организация была достаточно чуткой, и она понимала, что это представление о Мэтти уникально и непоколебимо. Возможно, она ощущала известную чуткость своей

² Windup – испуг (англ.).

души, занятой столь необычной работой. Как бы там ни было, она чувствовала, что привязана к этому ребенку больше, чем к остальным, и не скрывала этого, а другие дети обижались, поскольку она была очень симпатичной. Она называла его «мой Мэтти». При этих словах он впервые после своего появления из пламени попытался воспользоваться мускулами лица для общения. Его усилия были напряженными и мучительными, как будто маленькому механизму не хватало смазки, но конечный результат не вызывал сомнений – Мэтти улыбался. Однако его искривленный рот оставался закрытым, отчего улыбка получилась недетской и как бы намекала, что улыбаться можно, но это – ненормальное и даже порочное занятие, если предаваться ему слишком часто.

Мэтти собирались перевести в другую больницу. Он ждал отъезда с покорностью животного, понимая его неизбежность. Хорошенькая нянечка скрепя сердце рассказывала ему, как там будет хорошо. Она привыкла к расставаниям. По молодости она считала, что ему повезло, раз он выжил. Кроме того, она влюбилась, и это отвлекало ее внимание. Их с Мэтти пути разошлись. Она утратила свою душевную чуткость, поскольку не испытывала или не могла испытывать ничего подобного со своими детьми. Она была счастлива и не вспоминала о Мэтти долгие годы, пока к ней не начала подбираться старость.

Мэтти зафиксировали в новой неподвижной позиции, чтобы пересадить кожу с одной части его тела на другую. Это довольно нелепое положение вызывало смех у других детей в ожоговой больнице, не имевших иных поводов для веселья. Взрослые приходили развлекать и утешать его, но ни одна женщина не могла пересилить себя и прижать неповрежденную сторону его лица к своей груди. И он больше не улыбался. Теперь для взоров случайных посетителей он был открыт почти целиком; их, торопившихся к своим несчастным родным, отталкивала уродливость страданий Мэтти, и они поспешно выдавливали натянутые улыбки, которые не могли его обмануть. Когда он, кое-как залатанный и освобожденный от бинтов, наконец встал на ноги, казалось, что улыбка покинула его навсегда. Мышцы на обожженном левом боку атрофировались и могли восстановиться только с ростом, так что пока он хромал. На правой стороне черепа выросли волосы, но левая представляла собой ужасную белесую плешь, которая выглядела настолько не по-детски, что заставляла забыть о его возрасте и обращаться с ним как с упрямым или просто тупым взрослым. Множество организаций окружило его своими заботами, но едва ли ему можно было как-то помочь. Его прошлое пытались выяснить снова и снова – без каких-либо результатов. Самые кропотливые поиски приводили к единственному выводу – он был порожден агонией горящего города.

Глава 2

Из госпиталя Мэтти проковывлял в свою первую школу, а из нее – в интернат для найденшей в Гринфилде, который финансировали два крупнейших британских профсоюза. Здесь он встретил мистера Педигри. Можно сказать, что их жизненные пути пересеклись, хотя Мэтти двигался по восходящей линии, а мистер Педигри – по нисходящей.

В прошлом у мистера Педигри осталось преподавание в старинной церковной школе, два менее почтенных учреждения и значительный период времени, который он именовал «заграничным путешествием». Мистер Педигри, сухопарый подвижный мужчина с волосами цвета потускневшего золота и тонким морщинистым лицом, выражавшим озабоченность, когда оно не выражало раздражения или лукавства, к моменту появления Мэтти в интернате работал там уже два года. Вторая мировая война, так сказать, продезинфицировала прошлое мистера Педигри. Его неосмотрительно поселили на верхнем этаже школы. Он перестал быть «Себастьяном» даже в своих собственных глазах. Он превратился в «мистера Педигри» – неприметного школьного учителя, и в его редеющих волосах появлялось все больше седины. С учениками он держался высокомерно и считал всех сирот, за несколькими исключениями, созданиями оттапливающими. Его классическое образование не нашло в Гринфилде применения, и он преподавал начальную географию вкуче с начальной историей и началами английской грамматики. Уже два года, как он обнаружил, что отрешиться от своей «эпохи» очень легко, и жил в мире фантазий. Он воображал, что ему всегда принадлежали два мальчика: один – образец чистой красоты, второй – низменное земное существо. Под его началом находился большой класс, в который собирали ребят, достигших предела своих умственных возможностей, и здесь они просто досаживали до конца положенного срока. Директор считал, что этой публике уже ничто не повредит, и, вероятно, был прав, если не считать тех мальчиков, с которыми у мистера Педигри устанавливались «духовные отношения». Ибо с приближением мистера Педигри к старости в этих отношениях появилась чрезвычайная странность, превосходившая любые отклонения от нормы с точки зрения гетеросексуальной личности. Мистер Педигри возносил ребенка на пьедестал и отдавался ему весь до конца – о да, до конца; и мальчику казалось, что жизнь прекрасна и все пути перед ним открыты. Затем, так же неожиданно, мистер Педигри охладел к нему, становился безразличным. Если и разговаривал с ним, то только резким тоном; общение их было чисто духовным, без единого прикосновения к пергаментной щечке, и разве ребенок, или кто-нибудь еще, мог найти основания для жалобы?

Всем этим правил ритм. Мистер Педигри понемногу этот ритм постигал. Наступал момент, когда красота ребенка начинала поглощать его, преследовать, сводить с ума – медленно, но верно! В такие периоды нужно было вести себя очень осторожно – он то и дело ловил себя на том, что рискует, забывая о всяком здравом смысле. В присутствии другого лица, учителя или еще кого-нибудь, из его рта сами собой вырывались слова о том, что юный Джеймсон – чрезвычайно обаятельный ребенок, настоящий красавчик!

Мэтти не сразу попал в класс мистера Педигри. Сперва ему дали шанс раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Но больницы отняли слишком большую часть его жизни, подобно тому как огонь уничтожил возможную его привлекательность. Его хромота, двухцветное лицо и страшное ухо, едва прикрытое черной прядью, зачесанной поверх лысой половины черепа, делали Мэтти изгоем. Может быть, это содействовало развитию особой способности – если ее можно так назвать, – которая усиливалась в нем в течение всей жизни. Он умел исчезать. Он умел, как зверь, становиться незаметным. Были у него и другие таланты. Он рисовал – плохо, но со страстью. Склонившись над листом, отгородив его рукой и свисавшей со лба прядью черных волос, он погружался в рисование, словно нырял в море. Контурные на рисунке всегда были замкнутыми, и каждый из них Мэтти заполнял абсолютно ровным и чистым цве-

том. Это был своего рода подвиг. Еще он внимательно выслушивал все, что ему говорили. Он знал наизусть большие отрывки из Ветхого Завета, и поменьше – из Нового. Его ладони и ступни были слишком крупными для тонких рук и ног. Сексуальность Мэтти – что блестяще подметили одноклассники – находилась в прямом соответствии с его непривлекательностью. Он был высокомерен – и одноклассники считали это самым тяжким из его грехов.

Сотней ярдов дальше по той же улице располагалась монастырская школа Святой Цецилии, и участки обоих заведений разделял узкий проулок. Со стороны девочек поднималась высокая стена с шипами наверху. Мистер Педигри видел стену и шипы из своей комнаты под крышей, и их вид навевал воспоминания, от которых его передергивало. Мальчики тоже видели стену. Из большого окна на лестничной площадке третьего этажа, рядом с комнатой мистера Педигри, можно было разглядеть за стеной синие платица и по-летнему белые носочки девочек. В одном месте те девочки, которые были попроказливее и посексуальнее других (что считалось одним и тем же), могли, приподнявшись на цыпочки, глядеть сквозь шипы. Со стороны мальчиков росло дерево, и, если залезть на него, юные создания могли смотреть друг дружке в лицо поверх проулка.

Двое ребят, особенно озлобленные высокомерием Мэтти – главным образом из-за собственной крайней низости, – с гениальной точностью и простотой решили сыграть на всех его слабостях сразу.

– Слышь, мы болтали с девчонками!

Чуть позже:

– Они говорили о тебе.

Еще позже:

– Энджи прямо втюрилась в тебя, Мэтти, она без конца спрашивает о тебе.

Потом:

– Энджи говорит, что прогулялась бы с тобой по лесу!

Мэтти заковывал от них прочь.

На следующий день ему принесли записку, напечатанную на машинке, в соответствии со смутными понятиями о взрослом мире, и подписанную от руки. Мэтти изучил листок грубой бумаги, вырванный из тетради, такой же, как та, что он держал в руке. Изо рта у него посыпались шары для гольфа:

– Почему она ее напечатала? Нет, не верю! Вы меня разыгрываете.

– Ну смотри же, вот ее имя – Энджи. Наверно, думала, что ты не согласишься, если не подпишет.

Взрыв хохота.

Если бы Мэтти знал хоть что-нибудь о девочках школьного возраста, он бы догадался, что девочка никогда не прислала бы записку на такой бумаге. В этом состоит одно из ранних проявлений половых различий. Парень, если его вовремя не остановить, может написать заявление о приеме на работу на обороте старого конверта. Но если за перо и лист бумаги берется девушка, в итоге обязательно выходит нечто умопомрачительное: яркое, надушенное и разукрашенное цветочками. Тем не менее Мэтти поверил записке на клочке, вырванном из ученической тетради.

– Мэтти, она сейчас там! Она хочет, чтобы ты ей показал кое-что...

Из-под насупленных бровей Мэтти переводил взгляд с одного на другого. Неповрежденная сторона его лица покраснела. Он молчал.

– Честно-честно, Мэтти!

Мальчишки заседали. Мэтти был выше их, но сутулился. С трудом он выдавил из себя:

– Чего она хочет?

Три головы приблизились к нему почти вплотную. Почти сразу же кровь отхлынула от его лица, и на бледном фоне еще заметнее проступили юношеские прыщи. Он выдохнул:

– Не говорила она этого!

– Ну честное слово!

Он переводил взгляд с одного на другого, разинув рот. Так человек, плывущий в открытом океане, поднимает над водой голову в стремлении увидеть землю.

В этом взгляде был свет надежды, борющейся с природным пессимизмом.

– Честное слово?

– Честное слово!

– Крестом клянешься?

Снова взрыв хохота.

– Вот те крест!

И опять этот упорный, заклинаящий взгляд, движение руки, пытающейся отмахнуться от насмешки.

– Держите...

Он сунул им свои книги и поспешно заковылял прочь. Мальчишки вцепились друг в друга, кривляясь, как обезьяны. Затем бросились в стороны, громко созывая приятелей. Компания помчалась вверх по ступенькам – раз, два, три этажа, на площадку к большому окну. У длинного бруса, шедшего вдоль окна на высоте мальчишеского роста, все пихались, отталкивая друг друга, и хватались за вертикальные прутья, разделенные промежутками уже мальчишеского тела. Внизу, в пятидесяти ярдах от здания, к запретному дереву торопливо ковыляла фигурка. Напротив, над стеной с девчоночьей стороны, в самом деле показались два синих пятнышка. Мальчишки у окна были так поглощены зрелищем, что не услышали звука открывающейся двери.

– Что все это значит? Что это вы тут делаете?

В дверном проеме стоял мистер Педигри, нервно сжимая дверную ручку; его взгляд блуждал вдоль шеренги веселящихся ребят. Но никто не обращал внимания на старого Педрилу.

– Еще раз спрашиваю, что все это значит? Мои ученики тут есть? Эй, ты, кудрявенький, Шенстон!

– Это Винди, сэр! Он лезет на дерево!

– Винди? Какой еще Винди?

– Вон он, сэр, смотрите, он как раз карабкается!

– Вы жалкие, гадкие пакостники! Шенстон, ты удивляешь меня! Такой замечательный, честный парень...

Злорадный, ликующий хохот:

– Сэр, сэр, смотрите, что он делает!

Среди листвы на нижней ветке что-то происходило. Сексуальные синие пятнышки пропали со стены, будто их ветром сдуло. Мистер Педигри хлопал в ладоши и кричал, но никто из ребят не обращал на него внимания. Они посыпались вниз по лестнице, бросив его, пунцового и более возбужденного тем, что осталось за его спиной, нежели тем, что было перед глазами. Он посмотрел вслед мальчишкам в колодец лестницы. Сказал в комнату, придерживая дверь:

– Ну хорошо, мой милый. Беги за ними.

Из комнаты вышел мальчик и, хитро улыбнувшись мистеру Педигри, стал спускаться по лестнице с сознанием собственной значимости.

Когда он ушел, мистер Педигри раздраженно посмотрел на мальчишку, неуклюже слезавшего с дерева. У мистера Педигри не было желания вмешиваться. Ни малейшего желания.

Директор узнал о случившемся от матери-настоятельницы. На его вызов явился мальчик – хромой, прыщавый и взбудораженный. Директору стало жалко его, и он решил замять дело. Выражения, в которых мать-настоятельница описывала происшествие, как бы набрасывали вуаль на это дело, и директору вроде как надлежало ее приподнять. Однако он почему-

то этого опасался. Он знал, что за поднятой вуалью нередко открывается больше, чем рассчитывает найти исследователь.

– Так, садись. Ты знаешь, нам на тебя пожаловались. На то, что ты делал на дереве. Молодые люди – мальчики – всегда лазают по деревьям, и я не об этом говорю... Но видишь ли, твой поступок может иметь серьезные последствия. Так что же ты там делал?

Неповрежденная сторона лица мальчика густо, глубоко покраснела. Он уставился между колен в пол.

– Понимаешь ли, мой дорогой, тут нечего... пугаться. Бывает, что люди не могут с собой совладать. Если они нездоровы, мы помогаем им сами или находим тех, кто поможет. Но для этого мы должны все знать!

Мальчик молчал и не шевелился.

– Тогда покажи, если так тебе проще.

Мэтти взглянул исподлобья и снова опустил глаза. Он тяжело дышал, как после бега. Потом правой рукой взялся за длинную прядь, свисавшую у левого уха, и жестом полного самоотречения откинул волосы, обнажая мерзостно белый череп.

Вероятно, Мэтти повезло, что он не видел, как директор непроизвольно зажмурился и почти сразу же с усилием раскрыл глаза, не изменив выражения лица. Они оба помолчали, затем директор понимающе кивнул, и Мэтти, успокоившись, откинул волосы на прежнее место.

– Да, – кивнул директор. – Да. Понимаю.

Некоторое время он молчал, обдумывая формулировки, которые употребит в письме к матери-настоятельнице.

– Ну что ж, – сказал он наконец, – никогда так больше не делай. А теперь иди. И пожалуйста, запомни, что тебе можно залезать только на большой бук, и то не выше второй ветки. Хорошо?

– Да, сэр.

После этой истории директор расспросил о Мэтти нескольких учителей, и выяснилось, что мальчика слишком пожалели – или, напротив, не пожалели – и он оказался в чересчур сильной группе. Он не мог сдать экзамены, и требовать от него этого было просто глупо.

Именно по этой причине однажды утром, когда мистер Педигри дремал, пока дети рисовали карту, в класс, неуклюже топоча, вошел Мэтти с учебниками под мышкой и остановился перед столом учителя.

– Боже милосердный! Откуда ты взялся?

Вероятно, для Мэтти вопрос был слишком неожиданным или слишком сложным, и он ничего не ответил.

– Чего тебе нужно, мальчик? Ну, быстро!

– Сэр, мне сказали – в комнату С-3, в конце коридора.

Мистер Педигри делано улыбнулся и с трудом отвел взгляд от уха мальчика.

– А, вот ты кто – наш обезьяноподобный друг, скачущий по веткам. Эй, парни, не смеяться! Ладно. Ты как, обезьяна-то ручная? Не сбежишь? Ума палата?

Содрогаясь от отвращения, мистер Педигри обежал взглядом класс. В его обычае было рассаживать мальчиков по эстетическому принципу, чтобы самые красивые занимали первый ряд. Он ни мгновения не колебался, куда отправить новичка. С правой стороны у задней стены класса стоял высокий шкаф, за которым как раз оставалось место для парты. Шкаф не двигали вплотную к стене, чтобы он не заслонял окна.

– Браун, сокровище, вылезай оттуда. Садись на место Барлоу. Ну да, конечно, он вернется – но тогда мы еще кого-нибудь пересадим. Браун, чертенок, я знаю, чем ты там сзади занимался, когда думал, что я тебя не вижу. Парни, утихомирьтесь! Не смей смеяться. А ты,

как там тебя... Вандгрэйв! Будешь следить за порядком, понял? Сиди тихо в том углу и говори мне, если кто будет шалить. Иди!

Натянуто улыбаясь, мистер Педигри ждал, когда новичок сядет и скроется за шкафом. Потом удостоверился, что часть лица мальчика отрезана шкафом и ему видна только более-менее неповрежденная сторона. Он вздохнул с облегчением. Такие вещи были для него незначительны.

– Тихо. Работаем дальше. Джонс, объясни ему, чем мы занимаемся.

Он успокоился и снова предался своей невинной игре – появление Мэтти дало ему повод для ее продолжения:

– Паско!

– Да, сэр?

Несомненно, Паско уже терял и без того невеликую привлекательность, какая была отпущена ему природой. Мистер Педигри мимоходом задумался – что он раньше находил в этом мальчишке? К счастью, их отношения не успели зайти далеко.

– Паско, дружок, не согласишься ли ты поменяться местами с Джеймсоном, чтобы к возвращению Барлоу... Ты же не против того, чтобы сидеть чуть-чуть подальше от очей правосудия? А как нам поступить с тобой, Хендерсон, а?

Хендерсон сидел в центре переднего ряда. Он отличался безмятежной, поэтической красотой.

– Хендерсон, ты не будешь возражать, если мы пересадим тебя поближе к очам правосудия?

Хендерсон поднял глаза, улыбаясь горделиво и с обожанием. Его звезда восходила. Невыразимо растроганный, мистер Педигри встал из-за стола и, подойдя к Хендерсону, взъерошил ему волосы.

– Ишь какой чумазый! Когда ты в последний раз мыл свою желтую солому?

Хендерсон смотрел на него, продолжая уверенно улыбаться. Он понимал, что этот вопрос – вовсе не вопрос, а общение, знак особого отличия. Мистер Педигри опустил руку, стиснул плечо мальчика, потом вернулся за свой стол. К его удивлению, новичок за шкафом поднял руку.

– Что такое? Что тебе?

– Сэр, вон тот мальчик передал вот этому записку. Это же не позволено, верно, сэр?

От удивления мистер Педигри ненадолго потерял дар речи. Весь класс притих, осознавая чудовищность того, что они только что услышали. Затем по рядам пролетел, нарастая, гул неодобрения.

– Тихо, парни! Я сказал, тихо! Эй, как там тебя. Из какой глухомани ты явился? Ого, у нас теперь есть свой блюстителю порядка!

– Сэр, вы же сказали...

– Мало ли что я сказал, ты, *недант!* Боже мой, ну и сокровище нам подбросили!

Рот Мэтти открылся и больше не закрывался.

Самое странное, что после этого Мэтти привязался к мистеру Педигри. Только недостатком общения можно объяснить то, что он повсюду таскался за учителем, раздражая его, – внимание Мэтти меньше всего требовалось мистеру Педигри. Как раз сейчас кривая его жизни шла вверх; в церковной школе, оставшейся в далеком прошлом, он еще не умел распознавать фазы своего ритма, но сейчас безошибочно чувствовал приближение критических точек. Пока он на весь класс восхищался красотой своего избранника – как бы откровенно ни выражались его симпатии, – все было в порядке. Но наступал день, когда он начинал с ним – не мог не начать – дополнительные занятия в своей комнате: это запрещалось, но опасность опьяняла; и там его жесты сперва тоже были невинными...

А именно сейчас, в последнем месяце семестра, природная красота Хендерсона достигла наивысшего расцвета. Мистер Педигри даже поражался, что источник этой красоты не иссякает, но продолжает бить год за годом. Этот месяц был странным и для мистера Педигри, и для Мэтти, который таскался за учителем с абсолютной непосредственностью. Его мир был так мал, а этот человек – так велик. Мэтти не догадывался, что в основе их отношений лежала шутка. Он был сокровищем мистера Педигри. Мистер Педигри сам так сказал. Одним детям приходится проводить годы в больнице, другим – нет, и точно так же, по наблюдениям Мэтти, одни дети выполняли навязанные им обязанности и стучали на товарищей, хотя в результате их все избегали, а другие – нет.

Соученики Мэтти могли простить ему уродливую внешность или забыть о ней. Но его педантизм, высокомерие и пренебрежение школьным кодексом чести делали его изгоем. Однако плешивый Виндап жаждал дружбы и таскался не только за мистером Педигри, но и за юным Хендерсоном. Хендерсон высмеивал его, а мистер Педигри...

– Не сейчас, Вилрайт, только не сейчас!

Неожиданно визиты Хендерсона в комнату мистера Педигри заметно участились и перестали держаться в секрете, а стиль обращений мистера Педигри к классу стал еще более вычурным. Это был пик кривой. На очередном уроке он отступил от темы и прочел целую лекцию о вредных привычках. Их очень, очень много, и от всех очень трудно избавиться. В сущности – «и вы поймете это, когда подрастаете», – избавиться от некоторых вовсе невозможно. Тем не менее важно отличать те привычки, которые считаются вредными, от тех, что действительно вредны. Например, в Древней Греции женщины считались низшими существами – не смейтесь, парни, я знаю, о чем вы думаете, гадкие мальчишки, – и подлинная любовь была возможна только между двумя мужчинами или между женщиной и мальчиком. Бывало, мужчина ловил себя на том, что все больше и больше думает о каком-нибудь юном красавчике. Представьте себе, допустим, великого атлета – ну, вроде игрока в крикет в наши дни...

Юные красавчики ожидали, какая же мораль будет извлечена из этого отступления и как оно связано с вредными привычками, но так и не дождались. Голос мистера Педигри постепенно затих, рассказ не закончился, а скорее оборвался и мистер Педигри остался стоять с видом озадаченным и потерянным.

Люди удивляются, когда осознают, как мало им известно друг о друге. Точно так же они изумляются и досадают, когда понимают, что те их помыслы и поступки, которые казались им скрытыми в непроглядной тьме, творились при ярком свете дня на глазах у всех. Такое открытие может ослепить и раздавить человека. А может и пройти без последствий.

Директор попросил мистера Педигри показать личные дела нескольких учеников из его класса. Они сидели за столом в директорском кабинете, спиной к зеленым шкафам; мистер Педигри многословно расписывал Блейка и Барлоу, Кросби, Грина и Халлидея... Директор кивал и листал личные дела.

– Я вижу, дело Хендерсона вы не принесли.

Мистер Педигри лишился дара речи.

– Знаете, Педигри, это крайне неосторожно.

– Что? Что неосторожно?

– Если человек испытывает специфические проблемы...

– Какие проблемы?

– Не стоит заниматься с мальчиками в своей комнате. Если вы хотите, чтобы они к вам приходили...

– О! Но это для его же блага!

– Вы знаете, что это запрещено. Уже ходят... слухи.

– Но другие дети...

– Не знаю, как, по-вашему, я должен это толковать. Все же постарайтесь не заводить... любимчиков.

Педигри выскочил из кабинета с горящими ушами. Он не сомневался, что стал жертвой изошренного заговора; когда цикл его ритмичной жизни приближался к пику, он начинал подозревать всех и вся. Директор, – думал Педигри, смутно осознавая собственную неосторожность, – сам положил глаз на Хендерсона! И он стал обдумывать план, как пресечь любые попытки директора перебежать ему дорогу. Он отчетливо понимал, что самый лучший выход – пустить врагов по ложному следу, отвести им глаза. Размышляя, как поступить, он сперва отверг свой план как невозможный, потом как невероятный, наконец, как чудовищный, – и в конце концов понял, что этот шаг необходимо сделать, хотя критическая точка цикла еще не пройдена.

Он решился. Когда класс рассаживался, он обычно подходил к каждому ученику по очереди, но на этот раз, содрогаясь от отвращения, направился прямо в тот угол, где, полускрытый шкафом, сидел Мэтти. Мальчик улыбнулся ему половиной рта; Педигри передернуло, но он все же ослабил в пространстве над головой Мэтти.

– Бог ты мой! Мой юный друг, разве это карта Римской империи? Это черная кошка в темном погребе! Джеймсон, подай-ка мне свою карту. Теперь видишь, Мэтти Виндап? О боже! Послушай, я не могу сейчас тратить на тебя время. Сегодня у меня нет вечерних уроков, так что вечером приходи ко мне в комнату с учебником, атласом и всем остальным. Ты знаешь, где моя комната, да? Перестаньте ржать, парни! А если будешь умницей, получишь сладкую булочку или кусок пирога... О господи!

Неповрежденная сторона лица Мэтти словно осветилась солнцем. Педигри взглянул на него снова. Потом сжал кулак, легонько стукнул мальчика по плечу и тут же поспешил к своему столу, словно ему не хватало воздуха.

– Хендерсон, мой милый, я не смогу дать тебе урок сегодня вечером. Но ты ведь обойдешься, верно?

– Что, сэр?

– Подойди сюда и дай свою тетрадь.

– Да, сэр.

– Сделаешь вот это. Понял?

– Сэр... Сэр, а занятий наверху больше не будет?

Мистер Педигри встревоженно глянул в лицо мальчику, оттопырившему нижнюю губу.

– О господи! Слушай, Чумазик. Видишь ли...

Он запустил пальцы в волосы мальчика и притянул к себе его голову.

– Чумазик, дружок, даже лучшим друзьям приходится расставаться.

– Но вы же говорили...

– Не сейчас!

– Вы говорили!

– Послушай, Чумазик. В четверг я буду вести занятия в зале. Придешь ко мне со своей тетрадкой.

– Только потому, что я нарисовал красивую карту... Это нечестно!

– Чумазик!

Мальчик опустил глаза, медленно повернулся и сел за парту, уткнув лицо в книгу. Его красные уши могли соперничать с багровой кожей Мэтти. Мистер Педигри сидел за столом, и руки у него дрожали. Хендерсон метнул в него взгляд из-под насупленных бровей, и мистер Педигри отвел глаза.

Пытаясь унять дрожь в руках, мистер Педигри пробормотал:

– Я его еще утешу!

Из них троих только Мэтти был способен смотреть прямо, не отводя глаз. Свет заливал неизувеченную половину его лица. Когда настало время подниматься в комнату мистера Педигри, он даже позаботился тщательно уложить свои черные волосы, чтобы они скрыли белесый скальп и багровое ухо. Мистер Педигри отворил ему дверь с каким-то лихорадочным содроганием. Он усадил Мэтти на стул, но сам вышагивал от стены к стене, как будто ходьба могла уменьшить его мучения. Он заговорил, обращаясь не то к Мэтти, не то к какому-то невидимому взрослому, который был способен его понять; но едва он произнес первые слова, как дверь отворилась. На пороге стоял Хендерсон.

Мистер Педигри завопил:

– Уходи, Чумазик! Прочь! Я не могу тебя видеть! О боже, боже...

Из глаз Хендерсона полились слезы, и он с грохотом помчался вниз по лестнице. Мистер Педигри стоял у двери, глядя ему вслед, пока рыдания мальчика и топот его ног не затихли вдали. Но и тогда он продолжал стоять, опустив глаза. Порывшись в кармане, он достал большой белый платок и провел им по лбу и по губам, а Мэтти глядел ему в спину и ничего не понимал.

Наконец мистер Педигри закрыл дверь и, не взглянув на Мэтти, начал ходить кругами по комнате, что-то бормоча то ли самому себе, то ли мальчику. Он говорил, что самая ужасная вещь в мире – это жажда, и людям знакомы все виды жажды и все виды пустынь. Все люди страдают от жажды. Сам Христос взывал с креста: «Διψώ»³. Человек не властен над своей жаждой, а потому и не повинен в ней. Упрекать людей за жажду несправедливо, вот в чем не прав Чумазик – это глупое и прекрасное юное создание, – но, впрочем, он слишком молод, чтобы понимать.

После этих слов мистер Педигри упал на стул возле стола и спрятал лицо в ладонях.

– Διψάω⁴.

– Сэр?

Мистер Педигри не отвечал. Наконец он взял тетрадь Мэтти и, стараясь тратить поменьше слов, указал на все ошибки в его карте. Мэтти начал исправлять карту. Мистер Педигри отошел к окну и застыл, глядя вверх свинцовой крыши, над которой торчал край пожарной лестницы, на горизонт, где с недавних пор виднелись разрастающиеся пригороды Лондона.

Хендерсон не пошел ни на занятия в зале, с которых отпросился в уборную, ни в самую уборную. Он подошел к фасаду здания и несколько минут стоял у двери директорского кабинета – ясный знак всей степени его унижения, ибо в мире Хендерсона пренебрежение субординацией считалось серьезным грехом. Наконец он постучал в дверь – сперва нерешительно, затем погромче.

– Что тебе нужно, мальчик?

– Поговорить с вами, сэр.

– Кто тебя послал?

– Никто, сэр.

Эта реплика заставила директора поднять глаза, и он увидел, что мальчик недавно плакал.

– Из какого ты класса?

– Мистера Педигри, сэр.

– Твое имя?

– Хендерсон, сэр.

³ Жажду (*др. – греч.*).

⁴ Это слово также означает «жажду», но на классическом древнегреческом языке. Тем самым автор подчеркивает образованность мистера Педигри. – *Примеч. пер.*

Директор открыл было рот, чтобы вымолвить «А-а!», но ничего не произнес и только прикусил губу. В его подсознании начала разрастаться тревога.

– Я слушаю тебя.

– Я... я насчет мистера Педигри, сэр.

Тревога вспыхнула буйным пламенем. Допросы, признания, вся эта тягомотина, доклады властям и, как итог, – суд. Этого человека наверняка признают виновным; но, может быть, дело еще не зашло так далеко?..

Директор посмотрел на мальчика долгим, очень пристальным взглядом.

– Ну?

– Сэр, мистер Педигри... Сэр, он занимается со мной у себя в комнате...

– Знаю.

Настала очередь Хендерсона онеметь от изумления. Директор понимающе кивал, а он тупо глядел на него. Директору оставалось совсем немного до пенсии, и усталость притупила его профессиональное рвение, вызвав желание отделаться от мальчика, пока тот не сказал ничего непоправимого. Разумеется, Педигри должен уйти из школы, но это можно организовать без лишних неприятностей.

– Очень мило с его стороны, – торопливо заговорил директор, – но, вероятно, тебя утомляют эти дополнительные уроки? Что ж, я тебя понимаю, ты хочешь, чтобы я поговорил с мистером Педигри, не так ли, я не скажу, что ты просил об этом, просто как бы выскажу мнение, что мы считаем тебя недостаточно выносливым для дополнительных занятий. Так что можешь не беспокоиться. Мистер Педигри больше не будет приглашать тебя к себе. Договорились?

Хендерсон покраснел. Опустив глаза, он ковырял носком башмака ковер.

– И мы никому не расскажем про нашу беседу, ладно? Я рад, что ты пришел ко мне, Хендерсон, очень рад. Знаешь, такие мелочи всегда можно уладить, если только вовремя сообщить о них... э-э... взрослым. Ну хорошо. А сейчас не вешай нос и иди на занятия.

Хендерсон не двигался. Его лицо покраснело еще сильнее и даже вроде бы разбухло; из зажмуренных глаз хлынули слезы, как будто они переполняли его голову.

– Ну, что ты, малыш! Все не так уж плохо.

Но все было гораздо хуже, чем думал директор. Ни один из них не знал, где кроется корень скорби. Беспомощно рыдал мальчик, и беспомощно смотрел на него мужчина; в нем росло неясное беспокойство, в котором он не смел признаться самому себе. Директор размышлял – разумно ли вот так вот отмахиваться от ребенка и его проблем, да и возможно ли это? Только когда поток слез почти иссяк, он заговорил снова:

– Ну что, полегчало? Слушай, мой милый, посиди тут немножко. Мне надо выйти – я вернусь через пару минут. А ты можешь уйти, когда захочешь. Договорились?

Кивнув и дружелюбно улыбнувшись, директор вышел и прикрыл за собой дверь. Хендерсон не воспользовался его приглашением сесть. Он стоял на месте, и румянец постепенно исчезал с его щек. Он шмыгнул носом, вытер его рукой. Затем вернулся на урок и сел за парту.

Возвратившись в кабинет и не найдя мальчика, директор сперва почувствовал облегчение оттого, что ничего непоправимого не было сказано; но потом с крайним раздражением вспомнил о Педигри и загорелся желанием немедленно переговорить с ним, однако решил все-таки отложить неприятное объяснение на утро, когда сон восстановит его жизненные силы. До завтра оставалось недолго, а дальше тянуть было нельзя; и, припомнив свой предыдущий разговор с Педигри, директор вспыхнул от неподдельного гнева. Болван этот Педигри!

Однако на следующее утро, когда директор собрался с духом и приготовился к разговору, ему самому пришлось получать удары вместо того, чтобы раздавать их. Мистер Педигри был в классе, но Хендерсон отсутствовал. К концу первого урока новый учитель, Эдвин Белл, уже

известный всей школе под кличкой Звонарь⁵, нашел Хендерсона и заработал истерический припадок. Мистера Белла увели под руки, а Хендерсон остался лежать у стены, скрытый розовыми кустами. Очевидно, он свалился с крыши или ведущей туда пожарной лестницы, пролетел пятьдесят футов и был мертвее мертвого. «Убился», – выразительно и с явным наслаждением сказал Марримен, разнорабочий, «расшибся в лепешку», – и от этих-то слов мистер Белл и забился в истерике. К тому времени когда мистера Белла удалось успокоить, тело Хендерсона подняли и под ним нашли сапог, на котором было написано «Мэтти».

В то утро директор долго сидел, уставившись на дверь, где перед ним накануне появился Хендерсон, и пытался взглянуть в глаза беспощадным фактам. Он знал, что его ждет, мягко говоря, серьезная нервотрепка, и предвидел чудовищно сложное расследование. Ему не удастся скрыть, что мальчик приходил к нему, и тогда...

А Педигри? Директор понимал, что учитель не смог бы сегодня вести занятия, если бы знал, что случилось ночью. Такое под силу закоренелому преступнику либо человеку, способному на мгновенный и точный расчет, – но только не Педигри. Тогда кто же?

Когда приехала полиция, директор так и не решил, что делать. На вопрос инспектора о сапоге он смог только вымолвить, что мальчики, как известно самому инспектору, часто меняются одеждой, – но инспектору это было неизвестно. Он сказал, что хотел бы «посмотреть» Мэтти, словно речь шла о фильме или телепередаче. Тогда директор вызвал школьного адвоката. Инспектор вышел из кабинета, а директор с адвокатом допросили Мэтти. Из слов мальчика выходило, что сапог он простер и выбросил. Директор раздраженно заметил, что сапог это не рука, его нельзя простереть, разве что протереть. Адвокат же убеждал мальчика довериться им и говорить правду, ведь они с директором защищают его интересы.

– Где ты был, когда это случилось? На пожарной лестнице?

Мэтти покачал головой.

– Тогда где же?

Если бы они знали Мэтти лучше, то поняли бы, почему засветилась, словно под лучами солнца, неповрежденная сторона его лица.

– С мистером Педигри.

– Он был там?

– Нет, сэр!

– Послушай, мальчик...

– Сэр, я был с ним в его комнате!

– Посреди ночи?

– Сэр, он велел мне рисовать карту...

– Не говори чепухи. Он бы никогда не велел тебе рисовать карту посреди ночи!

Сияние на лице Мэтти угасло.

– Почему ты лжешь нам? – спросил адвокат. – Все равно правда рано или поздно станет известна. Тебе нечего бояться. Так что там с этим сапогом?

Не поднимая глаз, с поскучевшим лицом, Мэтти что-то пробормотал.

Адвокат настаивал:

– Я ничего не расслышал. Эдемом? Каким Эдемом?

Мэтти снова забормотал.

– Нет, так не годится, – сказал директор. – Послушай, как тебя... Вилдворт. Что бедняга Хендерсон делал на пожарной лестнице?

Мэтти бросил на него испепеляющий взгляд исподлобья, и единственное слово сорвалось с его уст:

– Демон!

⁵ Bell – звонок, колокол (англ.).

Пришлось оставить Мэтти в покое и послать за мистером Педигри. Тот явился, жалкий, ослабевший, с серым лицом и подкашивающимися ногами. Директор посмотрел на него с безразличным сочувствием и предложил сесть. Мистер Педигри рухнул на стул. Адвокат разъяснил возможный ход событий, добавив, что можно добиться смягчения наказания чистосердечным признанием, после чего отпадет надобность в допросе учеников. Мистер Педигри сидел, нахохлившись и дрожа. С ним были вежливы, но во время разговора он только раз оживился. Когда директор дружелюбно сообщил, что у него есть друг – маленький Мэтти Виндвуд пытался выгородить его, – лицо мистера Педигри побледнело, потом покраснело и снова побледнело.

– Этот ужасный, мерзкий уродец! Я не притронуся к нему, пусть даже на земле не останется никого больше!

Арест мистера Педигри постарались провести по возможности незаметно, учитывая, что он согласился признать себя виновным. Все же он покинул свою комнату и спустился по лестнице в сопровождении полисмена. И тем не менее этот щенок, тенью следовавший за ним, оказался и здесь, став свидетелем его позора и ужаса! Мистер Педигри, проходя через большой зал, закричал:

– Мерзкий, злой мальчишка! Это ты во всем виноват!

Самое интересное, что вся школа, видимо, была согласна с мистером Педигри. Бедный старый Педрила стал еще более популярен среди учеников, чем в те безмятежные дни, когда он раздавал им ломтики пирога и готов был снисходительно сносить насмешки в обмен на их симпатию. И никто, включая директора, адвоката и даже судью, так и не узнал, что же на самом деле произошло той ночью; как Хендерсон умолял Педигри впустить его, как ему было отказано, как он поскользнулся на крыше и упал, – ведь теперь Хендерсон был мертв и не мог никому раскрыть тайну своей неистовой страсти. Но для Мэтти эта история имела последствия: ему объявили бойкот, и он впал в глубокое уныние. Школьному персоналу стало понятно, что это тот случай, когда ребенка надо досрочно выпустить из школы, и если не лекарством, то хоть облегчением для него может стать простая, не требующая особой сообразительности работа. Директор, который был постоянным покупателем в магазине скобяных товаров Фрэнкли в конце Хай-стрит, рядом со Старым мостом, ухитрился найти там для Мэтти место; и в школе больше никогда не видели ни его, ни Педигри, ставшего заключенным номер 109732.

Директор тоже недолго оставался в школе. Он не простил себе того, что не помог Хендерсону, пришедшему к нему поговорить. Под предлогом пошатнувшегося здоровья он в конце семестра оставил должность; и поскольку причиной его отставки была трагедия, то в своем домике над белыми утесами он снова и снова перебирал в памяти ее туманные клочки, но раз за разом все глубже запутывался. Только однажды ему показалось, что он набрел на путь к разгадке, да и то не был уверен. Это была цитата из Ветхого Завета: «На Едома простру сапог Мой». Директор вспомнил Мэтти, и по коже у него побежали мурашки. Цитата, разумеется, была примитивным проклятием, подлинный смысл которого терялся при переводе, наподобие «снесем с лица земли» и десятков подобных жестокостей. Он сидел и размышлял, не попал ли ему в руки ключ к чему-то более мрачному, чем трагедия юного Хендерсона.

Он кивал и бормотал себе под нос:

– Ну да, *сказать* – это одно, а *сделать* – совсем другое.

Глава 3

Магазин скобяных товаров Фрэнкли был единственным в своем роде. После того как прорыли канал и построили Старый мост, недвижимость в этой части Гринфилда упала в цене. В начале девятнадцатого века торговое предприятие Фрэнкли перебралось в ветхие постройки, задами выходившие на канал и стоившие не дороже грязи. Сейчас возраст зданий уже не поддавался определению. Одни стены были сложены из кирпича, другие выложены плиткой, третьи покрыты оштукатуренной дранкой, четвертые представляли собой причудливые деревянные конструкции. Вполне возможно, что кое-где на месте последних в средние века были окна, впоследствии забитые досками и теперь казавшиеся просто обветшалыми стенами. Здесь не осталось ни одной балки без зарубок, желобков и случайных дырок, свидетельствовавших о перестройках, перепланировках, достройках и ремонтах, выполнявшихся на протяжении многих веков. Строения, в конце концов перешедшие во владение Фрэнкли, своей хаотичностью и беспорядочностью напоминали коралловые рифы. Выходивший на Хай-стрит фасад только к 1850 году получил законченный вид и уже в 1909 году, в ожидании визита Его Величества короля Эдуарда VII, был перестроен заново.

К этому времени, если не раньше, все чердаки и мансарды, галереи, коридоры, закоулки и щели уже использовались как склады и были забиты товаром. У Фрэнкли от каждого века, каждого поколения, каждой партии товара оседал остаток или осадок, внося вклад в общую захламленность. Порывшись в дальних уголках, посетитель мог наткнуться на каретные лампы или пилорамы, не попавшие в музей, а все еще ожидавшие случайного извозчика или столяра, который не пожелал перейти на паровые машины. Правда, в начале двадцатого века хозяева попытались убрать с первого этажа весь устарелый хлам. В результате этот этаж как бы сам собой претерпел некую эволюцию, разделившись на отделы, учитывавшие разные потребности покупателей: инструменты, садовый инвентарь, принадлежности для игры в крокет и так далее. После потрясений Первой мировой войны магазин опутала паутина проволоки, по которым в маленьких деревянных ящичках передавались деньги. Эта система поражала всех – и малышей, и стариков. Продавец отправлял коробочку – щелк! – от своего прилавка, и когда она долетала до кассы, звенел колокольчик – дзинь! Кассир открывал коробочку, доставал деньги, проверял банкноту на свет, клал сдачу в коробочку и посылал ее обратно – щелк!.. щелк! Все это занимало массу времени, но вызывало интерес и восхищение, как игрушечная железная дорога. В базарные дни колокольчик звенел часто и так заливисто, что пробивался сквозь мычание скота, который перегоняли по Старому мосту. Зато в другие дни колокольчик надолго умолкал, и эти паузы с течением лет становились все длиннее. Посетитель, блуждавший в самых дальних и темных закоулках магазина, мог познакомиться с другим свойством деревянных коробочек. Звук колокольчиков терялся среди беспорядочных конструкций, и коробочка могла просветить над головой покупателя, как хищная птица, обогнуть угол и умчаться в самую неожиданную сторону.

Во владениях Фрэнкли уважали древность. Вся эта сложная система была придумана для того, чтобы не устанавливать около каждого продавца кассу. Но непредвиденным следствием явилось то, что проволочная паутина напрочь изолировала продавцов от мира. Молодой мистер Фрэнкли занял место покойного мистера Фрэнкли, в свой черед стал старым мистером Фрэнкли и умер, а его продавцы, сохранившие здоровье, может быть, благодаря размеренной благочестивости своего существования, не умирали, продолжая стоять за прилавками. Новый молодой мистер Фрэнкли, еще более набожный, чем его предки, упразднил денежную канатную дорогу, решив, что она бросает тень на репутацию этих достойных стариков. Именно он и был тот знаменитый мистер Артур Фрэнкли, построивший часовню, – мистер Артур, как сокращенно называли его в своих темных углах эти джентльмены, речь которых

осталась неоскверненной в эпоху безлошадных экипажей. Мистер Артур вернул на прилавки деревянные кассы, восстановив достоинство каждого отдела.

Но долгие годы пользования подвесной дорогой привели к двум последствиям. Во-первых, служащие приучились к неподвижности и спокойствию; во-вторых, они настолько привыкли отправлять и получать деньги по воздуху, что когда одному из этих престарелых джентльменов протягивали банкноту, он немедленно поднимал ее, словно проверяя водяные знаки. Еще одним следствием этой эволюции или, вернее сказать, деградации, стало то, что в ответ на любую свою реплику или просьбу покупатель получал продолжительное молчание и отрешенный взгляд приказчика, пытавшегося вспомнить, что делать дальше. Впрочем, называть этих джентльменов приказчиками – значит проявить неуважение к их памяти. В ясные дни, когда тусклое электричество выключалось и магазин освещался сквозь большие окна или широкие и пыльные световые люки, часть которых выходила в другие помещения и не давала света, темнота отступала в тихие закутки или забытые коридоры. В такой день случайный покупатель замечал призрачный крылатый воротничок, маячивший в отдаленном уголке; и когда его глаза привыкали ко мраку, он мог разглядеть над воротничком бледное лицо, а внизу – пару рук на уровне невидимого прилавка. Их обладатель был так же неподвижен, как лежавшие на прилавке коробки с болтами, гвоздями, шурупами, дверными петлями и кнопками. Он стоял с отсутствующим видом, пребывая в каком-то непостижимом состоянии духа, и тем не менее его тело оставалось в вертикальном положении до самого последнего покупателя. Даже молодой мистер Артур, при всем своем добродушии и искренней благожелательности, считал, что вертикальное положение – единственно подходящее для продавца и что сидящий продавец – явление в чем-то аморальное.

Мистер Артур был очень набожным, и в годы его царствования благодаря таинственным свойствам человеческой души служащие все больше и больше пропитывались святостью. Сочетание дряхлости, бережливости и благочестия превращало их в самых никчемных и одновременно самых почтенных продавцов в мире. Они стали своего рода достопримечательностью. Наполеоновское решение убрать проволочную паутину исчерпало силы молодого мистера Артура. Он был убежденным холостяком, не от неприязни к женщинам или извращенности, а от недостатка полового влечения; и все состояние завещал на свою часовню. Во время Второй мировой войны магазин перестал приносить прибыль и с трудом окупался, однако мистер Артур не видел в этом причины для его закрытия. До конца его жизни никого из святых старцев не уволят, потому что больше они ничего не умеют делать и им некуда податься. Когда прогрессивный внук бухгалтера, служившего у его отца, упрекнул мистера Артура за такой неделовой подход, тот невнятно пробормотал: «Обжегся на воде – не дуй на молоко».

Сейчас уже невозможно было сказать, повлияло ли введение отдельных касс на скорость деградации. Ясно было только то, что положение стало критическим, о чем свидетельствовали судорожные попытки спасти магазин. Пожилые джентльмены, так долго простоявшие за прилавками и так мало продавшие, не лишились своих почетных привилегий, но первая же судорога преобразований перебросила невообразимые горы хлама с одного чердака на другой, и наверху открылся новый торговый зал. Здесь продавались столовые приборы и посуда; и поскольку все пожилые джентльмены так и остались за своими прилавками, потребовалось вливание свежей крови. В тот момент не нашлось кандидатов подходящего возраста, готовых трудиться за такой мизерный оклад, и магазин, нырнув в двадцатый век как в очистительную воду, нанял – «принятие на работу» оставалось привилегией мужчин – женщину. Электрический свет в длинном торговом зале на втором этаже – более мощный, чем где-либо в здании, – не выключался, каким бы ясным ни был день, до шести вечера, когда запирались входные двери. О легкомысленности, присущей выставленным в этом сверкающем зале товарам и полу их стража, предупреждала даже ведущая туда лестница – обитый кожей и украшенный лепниной пережиток конца семнадцатого века, непонятно как оказавшийся не сна-

ружи, а внутри здания. Вскоре к ножам и стаканам добавились графины, бокалы, фарфор, салфетки, салфеточницы, подсвечники, солонки и ониксовые пепельницы. Однако, несмотря на подсвеченный, отделанный кожей вход, покрытые дорожкой ступени, ковры, полированный пол, сверкающие под расточительно яркими лампами серебро и хрусталь, этот магазин в магазине или магазин над магазином производил впечатление чего-то недолговечного. На первом этаже остались рукоятки для метел, оцинкованные ведра, ряды столярных инструментов, и новый отдел плохо сочетался с грязными потрескавшимися деревянными лотками, заполненными гвоздями, кнопками, болтами и шурупами из железа и меди.

Старики в новый отдел не заходили. Вероятно, догадывались, что из этой затеи ничего не выйдет, поскольку магазин, как и они сами, катился к неизбежному закату. Но пока что вслед за верхним залом в магазин вторглась и отнюдь не собиралась уходить из него пластмасса. Беззвучные пластиковые ведра, тазы, раковины, лейки и подносы ярких расцветок громоздились повсюду, и уж совсем неслыханным делом были шеренги искусственных цветов. Все это образовало нечто вроде павильона в центре нижнего торгового зала. От павильона тянулась конструкция из пластиковых ширм и трельяжей, за которыми пряталась причудливая садовая мебель. И здесь хозяйкой тоже оказалась женщина, даже не женщина, а девушка. У нее, как у всех, была своя собственная касса. Она забавлялась, по-новому располагая разноцветные лампочки и прячась в своем фантастическом садике.

И в эту путаницу старинного и современного, миниатюрное подобие большого общества, по воле директора попал Мэтти. Его положение было неопределенным. Мистер Артур объяснил: пусть мальчик сперва придет, а уж потом станет понятно, какое дело ему поручить.

– Думаю, – сказал мистер Артур, – мы можем определить его в отдел доставки.

– А в будущем? – спросил директор. – Я имею в виду его будущее.

– Если будет справляться, перейдет в отдел рассылки, – ответил мистер Артур, устремив наполеоновский взгляд в далекую даль. – А потом, если у него есть способности к арифметике, может дорасти даже до бухгалтера.

– Не стану от вас скрывать, что у мальчика весьма скромные способности. Но ему невозможно оставаться в школе.

– Пусть начнет с отдела доставки.

Магазин Фрэнкли доставлял товары по району радиусом в десять миль и торговал в расрочку. По Гринфилду небольшие заказы развозил мальчик на велосипеде, а для дальних поездок и крупных грузов имелись два фургона. При одном из них, кроме водителя, состоял еще и грузчик. Водитель был так искалечен артритом, что на сиденье его поднимали, и он оставался там, пока хватало сил, а то и дольше. Это был еще один пример недальновидной доброты мистера Артура. Он держал на службе человека, для которого работа стала постоянной пыткой и ужасом, заодно заставляя двоих людей выполнять работу одного. В магазине Фрэнкли, почтенном старом предприятии, практиковался трудоинтенсивный метод, хотя в то время этот термин еще мало применялся.

В глубине двора, к которому примыкал садик Гудчайлда, владельца магазина редкой книги, в каретном сарае, как его называли по старой памяти, приютилась кузница с наковальней, горном, инструментами и, конечно, с пожилым кузнецом, который коротал время, клепающая безделушки для внуков. В этом месте и обретался Мэтти. Он получал карманные деньги и спал в длинной мансарде под розовой черепицей пятнадцатого века. Кормили его хорошо, поскольку мистер Артур на еду никогда не скупился. Мэтти ходил в грубом темно-сером пиджаке и сером комбинезоне. Он разносил товар. Он был Разносчиком. Он отдавал покупателям садовые инструменты и просил расписываться за них. Нередко его можно было увидеть около кузницы среди штабелей упаковочных ящиков – он же и вскрывал эти ящики инструментом вроде фомки. Он превратился в специалиста по вскрыванию, изучил единицы измерения листового металла и арматуры, уголков, брусьев и проволоки. В тишине рабочего дня

иногда можно было услышать, как он неуклюже бродит по чердакам и мансардам среди залежей товара. Ему случалось относить туда странные предметы, названий которых он не знал и из которых, может быть, только каждый шестой найдет своего покупателя, а остальные пять так и останутся ржаветь. Там, наверху, случайный посетитель мог наткнуться на набор для камина или смятую пачку первых некопящих свечей. Иногда Мэтти делал там уборку – подметал акры неровных досок, где щетка только поднимала пыль, и та повисала в темных углах, невидимая, но щекопавшая в носу. К крылатым воротничкам за прилавками он относился благоговейно. Кроме Мэтти, здесь был еще один мальчик, чуть старше возрастом, разносивший заказы пешком или развозивший их на велосипеде, который он считал своим собственным. Велосипед был старше мальчика. Этот мальчик, коренастый блондин с прилизанными волосами, блестящими так же соблазнительно, как и его ботинки, в совершенстве владел всеми уловками, помогавшими пореже возвращаться в магазин, и его появления больше напоминали визиты покупателя, чем работу служащего. Крылатые воротнички достигли едва ли не абсолютной неподвижности, а этот мальчик открыл вечное движение. Мэтти, конечно, был слишком наивен, чтобы, подражая белобрысому, обращать обстоятельства себе на пользу. Он был постоянно чем-то занят и не подозревал, что ему дают задания только для того, чтобы спроводить с глаз долой. Кузнец приказывал ему подобрать окурки в дальнем углу двора, скрытом от всех взоров, а Мэтти не догадывался, что никто не рассердится, если он проторчит там весь день. Он подбирал все окурки и докладывал, что задание выполнено.

Мэтти проработал у Фрэнкли всего несколько месяцев, когда начало повторяться то, что случилось с ним в интернате. Всякий раз, когда он проходил мимо павильона искусственных цветов, его поражал доносившийся оттуда запах. Возможно, невыносимая привлекательность этих цветов, при полном отсутствии запаха, заставляла работавшую в павильоне девушку особо тщательно заботиться о своем аромате. Однажды утром Мэтти приказали отнести мисс Эйлин новые цветы. Он явился в павильон с охапкой пластиковых роз, на которых даже не сочли нужным сделать шипы. Розы закрывали ему обзор, листик то и дело задевал за нос, но сквозь щель между цветками Мэтти разглядел, что девушка раздвинула розы на полке перед ним. Через образовавшуюся дыру он смог заглянуть в павильон.

Сперва он увидел что-то сияющее, похожее на занавес. Сверху занавес закруглялся – девушка стояла спиной к Мэтти – и слегка расширялся книзу, уходя под прилавок. Аромат ее духов налетал и исчезал, подчиняясь своим собственным законам. Услышав шаги, она повернула голову. Мэтти увидел, что ее нос чуть-чуть вздернут, как бы утверждая абсолютное право своей хозяйки на нахальство, хотя в тот момент поворотом головы на него была сброшена завеса волос. Еще он увидел, что линию ее лба подчеркивают брови, изгиб которых не поддавался математическому расчету, а под ними из-под длинных черных ресниц выглядывает большой серый глаз. Глаз заметил пластмассовые розы, но девушка была занята с покупателем у другого конца прилавка, и у нее хватило времени только на односложное выражение благодарности:

– Да.

Под его локтем оказалась пустая полка. Мэтти поставил на нее цветы, и бутоны расправились, скрыв девушку от его взгляда. Ноги сами собой развернулись, и он пошел прочь. «Да» разрасталось, выходило за пределы слога – одновременно тихое и громкое, взрывное и дрящееся бесконечно. В себя он пришел только возле кузницы и отважно спросил, не надо ли отнести еще цветов, но его не услышали – Мэтти сам не подозревал, как тихо прозвучал его голос.

Так у Мэтти появился второй источник мучений. Первым, совсем не похожим на этот, был мистер Педигри. Когда мальчик поднимал на чердаке тучи пыли и его правая, выразительная часть лица была искажена страданием сильнее, чем можно было приписать моменту, это означало, что его мысли возвращались к мистеру Педигри. Не пыль и не занозы причиняли внезапную боль, искажавшую лицо Мэтти, а память о словах, выкрикнутых ему в зале: «Это ты

во всем виноват!» Однажды, в момент этих очень личных переживаний Мэтти схватил гвоздь и неловко воткнул его себе в руку, сжимавшую метлу. Чуть-чуть побледнев, он смотрел на струйку крови с каплей на конце – и все из-за беззвучного голоса, снова кричавшего на него. Сейчас же ему казалось, что этот кусочек девичьего лица, этот аромат, эти волосы заполнили все уголки его разума, свободные от памяти о мистере Педигри. Два этих навязчивых воспоминания, казалось, переворачивали все у него внутри, восстанавливали его против собственных желаний и лишали защиты и надежды на излечение, заставляя просто терпеть.

В то утро он незаметно исчез со двора и залез по лестнице на чердак. Пробравшись знакомым путем между ящиками, набитыми бритвенными принадлежностями, мимо штабелей краски, через пустую комнату, где не было ничего, кроме нескольких ржавых пил и стопки ребристых корыт, вставленных одно в другое, вдоль рядов одинаковых парафиновых ламп, он попал в длинное помещение для посуды. В его центре находился большой световой люк из ребристого стекла, который должен был пропускать свет в главный торговый зал из второго люка сверху. Глядя вниз, Мэтти видел лучистые блики от разноцветных лампочек, скользящие по стеклянным ребрам следом за его движением. Чувствуя, что сердце колотится быстрее, он разглядел бесформенное цветное пятно – прилавок с цветами. Он сразу же понял, что больше никогда не сможет тут пройти, не бросив взгляда вниз на это расплывчатое многоцветье. Мэтти направился дальше, на следующий чердак, пустовавший, и спустился на пару ступенек по лестнице, проходившей вдоль самой дальней от двора стены. Положив руку на перила, он перегнулся над ними и посмотрел в зал из-под самого потолка.

Он видел охапки искусственных цветов, но проем, через который обслуживали покупателей, оказался на той же стороне, что и он. С этой же стороны вдоль прилавка были выставлены цветы, а с другой – те розы, которые он так поспешно поставил на полку. В центре виднелась только темно-русовая макушка с чертой пробора посередине. Мэтти понял, что нужно спуститься в магазин и взглянуть искоса, проходя мимо павильона, если он хочет увидеть больше. На мгновение у него мелькнула мысль, что если бы он был поопытнее в житейских делах – например, как белобрысый мальчишка, – он мог бы остановиться и поболтать с ней. От этой мысли и понимания ее неосуществимости у него замерло сердце. Он ускорил шаги, но ноги заплетались, словно их было слишком много. Оказавшись в ярде от прилавка, не заставленного цветами, он, не поворачивая головы, бросил косой взгляд, но мисс Эйлин нагнулась, и Мэтти увидел только пустой павильон.

– Эй, мальчик!

Он припустил неуклюжей рысью.

– Мальчик, где тебя носило?

На самом деле никого это не интересовало, хотя, если бы Мэтти ответил, к нему прониклись бы сочувствием и симпатией.

– Машина уже полчаса ждет. Иди грузи!

И он принялся нагружать фургон – с грохотом швырял в угол связки металла, поставил полдюжины складных стульев и, наконец, устроил свое неуклюжее тело на сиденье рядом с водителем.

– У нас столько цветов!

Мистер Пэрриш, страдающий от артрита водитель, застонал. Мэтти продолжал:

– Они совсем как настоящие, правда?

– Чего не видал, того не видал. Тебе бы мои колени...

– Просто отличные цветы!

Мистер Пэрриш не отвечал – он весь ушел в управление фургоном. Голос Мэтти сам собой продолжал:

– Они красивые. В смысле, искусственные цветы. И эта девушка, юная леди...

Звуки, издаваемые мистером Пэрришем, не менялись со времен его юности, когда он управлял одним из трех конных фургонов Фрэнкли. Его пересадили на автофургон через несколько лет после того, как такое нововведение стало доступно, и он оставил при себе две вещи: свой конный словарь и веру в то, что его повысили в должности. Сначала мистер Пэрриш не подавал никаких признаков того, что слышит мальчика. Однако он слышал все, что тот говорил, и выжидал подходящий момент, чтобы нарушить свое молчание словами, которые поразят Мэтти не в бровь, а в глаз. И дождался.

– Парень, когда обращаешься ко мне, называй меня «мистер Пэрриш».

Вполне возможно, что это была последняя попытка Мэтти поговорить с кем-нибудь по душам.

В тот же день ему удалось еще раз пройти по чердаку над главным торговым залом. Он снова искоса наблюдал за цветными пятнами на ребристом стекле и снова смотрел из-под потолка. Он ничего не увидел. Когда магазин закрылся, Мэтти поспешил на пустой тротуар перед входом, но никого не встретил. На следующий день он пришел туда пораньше и был вознагражден зрелищем темно-русых волос с медовым отливом, неприкрытых коленок и долгих блестящих чулок, шагнувших с тротуара и пропавших внутри автобуса. Потом была суббота, когда магазин закрывался рано, но Мэтти все утро был занят, и девушка ушла прежде, чем он освободился.

В воскресенье он машинально отстоял молебен, съел обильный, но простой обед, который подавали в Трапезной, как окрестил ее мистер Артур, и отправился на прогулку, рекомендованную для здоровья. Крылатые воротнички тем временем храпели в своих кроватях. Он прошел мимо «Редких книг Гудчайлда», мимо усадьбы Спраусона и повернул направо, на Хай-стрит. Им овладело странное состояние, как будто в воздухе звенела высокая нота, слившаяся с Мэтти и порожденная неким внутренним напряжением, беспокойством, которое могло обостриться до страдания, если припомнить то или иное событие. Это чувство усилилось настолько, что Мэтти повернул назад к Фрэнкли, будто вид места, где скрывалась одна из его проблем, помог бы ее решить. Но сколько он ни стоял, разглядывая магазин, книжную лавку рядом с ним и усадьбу Спраусона, помощь не приходила. Он завернул за угол усадьбы и, выйдя на Старый мост через канал, услышал, как в железной кабинке – уборной у входа на мост – автоматически спускается вода. Мэтти стоял и смотрел на воду в канале с древней и бессознательной уверенностью в том, что такое созерцание принесет помощь и исцеление. В его голове мелькнула мысль пройтись по тропинке вдоль канала, но там было грязно. Он вернулся, обогнул усадьбу, и снова перед ним оказались книжная лавка и магазин Фрэнкли. Мэтти остановился и заглянул в витрину книжной лавки, но не нашел облегчения в названиях книг. Книги были полны слов – физическое воплощение бесконечного людского кудахтанья.

То, что его волновало, понемногу начало проясняться. Может быть, удастся окунуться в тишину, нырнуть сквозь все звуки и все слова, слова-ножи и слова-стилеты, такие, как «Этот ты во всем виноват!» и «Да», – с пронзительной радостью, вниз, вниз, в тишину...

Слева в витрине, под рядами книг («С жезлом и ружьем»), находился небольшой прилавок с несколькими предметами, не вполне соответствующими строгим канонам книготорговли. Азбука и текст «Отче наш» в тонкой рамке. Аккуратно наклеенный на картонку клочок пергамента с древними квадратными нотами. Стекланный шар на маленькой подставке из черного дерева слева от древних нот. Мэтти одобрительно смотрел на стекланный шар, так как тот не пытался говорить и, в отличие от огромных книг, не хранил в себе остановленную речь. В шаре не было ничего, кроме отражения далекого солнца. Мэтти нравилось и солнце, которое молчало, но оставалось на своем месте, все более яркое и все более светлое. Оно засверкало, как будто рассеялись тучи. Оно двинулось вместе с Мэтти, но он вскоре замер и больше не мог пошевелиться. Солнце без труда одерживало над ним верх, факелом слепило ему глаза, и он испытывал странное чувство – не особенно неприятное, а именно странное... необычное. Еще

он ощущал правоту, истину и тишину. Позднее он определил это чувство для самого себя как ощущение прибывающей воды; а еще позже Эдвин Белл назвал его способ смотреть на вещи и то, как они являются ему, «состоянием неподвижного отстранения».

Ему открылась изнанка со всеми ее швами. Цельная ткань, раньше распадавшаяся на отдельные лоскуты, предстала как основа и уток, дающие существование людям и событиям. Он видел Педигри с лицом, искаженным проклятием. Он видел профиль под водопадом волос и видел, как одно уравнивает другое. Лицо девушки среди искусственных цветов, которое ему так и не удалось увидеть целиком, сейчас оказалось перед ним. Мэтти знал, что оно ему знакомо, но понимал также, что в этом его знании чего-то недостает. Педигри все уравнивал. Нехитрое знание о Педигри этих джентльменов и его едких словах делало картину вполне законченной.

Потом все это невыразимым образом ушло от него, и открылось другое измерение – в виде больших золотых букв, протянувшихся из правого нижнего угла в левый верхний. Мэтти догадался, что видит низ витрины, а надпись золотом гласит: «Редкие книги Гудчайлда». Он стоял, прислонившись к витрине, и оттого надпись казалась ему наклоненной. Стекланный шар на деревянной подставке пропал за туманным пятном от его дыхания на стекле, и в нем больше не пылало солнце. Внезапно Мэтти сообразил, что солнце весь день пряталось за плотными тучами, из которых то и дело начинал моросить дождь. Он пытался припомнить все, что с ним произошло, но обнаружил, что в процессе воспоминания изменяет произошедшее. Словно он давал цвет и форму картинам и событиям; и это было вовсе не то же, что закрасивать промежутки между готовыми контурами в книжке-раскраске, – словно он желал чего-то и видел, как эти желания исполняются, точнее, был вынужден чего-то желать и наблюдал за исполнением желания.

Спустя некоторое время он отвернулся от витрины и бесцельно побрел по Хай-стрит. Снова закапал дождь, Мэтти замедлил шаги и огляделся. Его взгляд остановился на старой церкви с левой стороны, на полпути до конца улицы. Мэтти поспешил к церкви, сперва подумав об укрытии, но затем осознал, что именно ему сейчас нужно. Он отворил дверь, вошел и выбрал место на задней скамье под западным окном. Аккуратно подобрав штанины, он опустился на колени, не думая о том, что делает. Помимо своей воли он попал именно туда, куда было нужно, и в единственно подходящем настроении. Это была приходская церковь Гринфилда – огромное здание с боковыми нефами и трансептом, хранящее в себе долгую и непримечательную историю города. Вряд ли в полу нашлась бы хоть одна плита без эпитафии, да и стены были почти сплошь покрыты письменами. Церковь была не просто безлюдна, а совершенно пуста. В этой пустоте отсутствовали те качества, которые скрывались в стеклянном шаре и вызывали в Мэтти некий отзвук. Он никак не мог собраться с мыслями, а в горле застрял ком – слишком большой, чтобы его проглотить. Он начал было шептать «Отче наш», но замолчал – ему казалось, что слова лишились всякого смысла. Так он и стоял на коленях, смущенный и опечаленный; и пока он стоял, к нему вернулась, поглощая его, мучительная тяга к искусственным цветам и темно-русому водопаду волос с медовым отливом.

Дщери человеческие.

Он безмолвно закричал в никуда. Тишина отозвалась тишиной.

Затем раздались отчетливые слова:

– Кто там? Что тебе надо?

Голос принадлежал помощнику vicария, который наводил порядок в ризнице согласно своему стремлению к аскетизму, о чем vicарий не имел понятия. Вопрос был обращен к мальчику-хористу, который скребся в дверь ризницы в надежде войти и забрать комикс, забытый внутри. Но звук его голоса прозвучал прямо у Мэтти в голове, и он ответил на него там же. Перед весами с двумя чашами, с мужским лицом на одной и огнем предвкушения и соблазна на другой, прошел отрезок времени, состоявший из чистой, раскаленной боли. Для Мэтти

это стало первой проверкой воли, не подвергавшейся до того испытанию. Он знал, что сделал выбор, – и ему никогда потом не приходилось сомневаться в своем знании или, тем более, смиряться с ним, гордиться им, – но не так, как выбирает осел из двух неравных охапок сена; это был выбор мучительного осознания. Раскаленная боль не утихала, поглощая будущее, выстроенное на искусственных цветах и темно-русых волосах, и оно погрузилось из «все еще возможно» в «могло бы быть, если...». Мэтти осознал, увидел, что его отталкивающая внешность превратила бы ухаживания за цветочницей в фарс и унижение; и он понял, что так будет с любой женщиной. Он зарыдал взрослыми слезами, пораженный в самую душу, оплакивая погибшие мечты, как оплакивал бы мертвого друга. Он плакал, пока не кончились слезы, и никогда не узнал, что утекло от него вместе со слезами. Закончив рыдать, он обнаружил, что стоит в странной позе – на коленях, прислонившись спиной к скамейке. Его руки сжимали спинку передней скамьи, а лбом он упирался в полочку для молитвенников и псалтырей. Открыв глаза и сфокусировав взгляд, он увидел прямо перед собой лужицу своих слез, упавших на камень и скопившихся в бороздках древних эпитафий. Он вернулся в унылый серый дневной свет, в легкий шепот дождя за западным окном, увидел невозможность излечиться от Педигри. А что касается волос... он понял, что должен уехать.

Глава 4

Для изломанной, страстной натуры Мэтти было естественно, что если уж он решил уехать, то уехать так далеко, как только возможно. Обстоятельства этого путешествия складывались странным образом, будто изломанность Мэтти давала ему право двигаться по самому быстрому – воздушному – маршруту, и дорога в Австралию оказалась для него короткой и легкой. Он встречал сочувствие чиновников там, где мог встретить безразличие, – хотя скорее всего те, кто содрогался при виде его изуродованного уха, просто спешили поскорее его спровести. Всего через несколько месяцев он уже имел работу, церковь и ночлег в мельбурнском отделении Союза христианской молодежи – все в центре города на Фор-стрит рядом с отелем «Лондон». Местный магазин скобяных товаров был не таким большим, как Фрэнкли, но и там наверху оказались склады, у стены двора – ящики, а вместо кузницы – механическая мастерская. Мэтти мог бы остаться здесь на годы, на всю жизнь, если бы оправдалась его наивная вера – чем быстрее и дальше он уедет, тем скорее избавится от своих невзгод. Но, разумеется, проклятие мистера Педигри последовало за ним. Более того, то ли время, то ли Австралия, то ли и то и другое вскоре обострили в нем смутное чувство недоумения, превратившееся в неприкрытое изумление; и оно породило где-то в голове Мэтти вопрос:

«Кто я такой?»

Единственный ответ, пришедший откуда-то изнутри, гласил: ты пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда. Ты причинил боль единственному другу; и ты должен отказаться от женитьбы, секса, любви, потому что, потому что, *потому что!* Если трезво взглянуть на вещи – на тебя никто не польстит, никогда. Вот кто ты такой.

Он сам не вполне понимал, насколько ему не хватает нормальной кожи. Когда Мэтти в конце концов осознал, какие огромные усилия приходится делать даже самым доброжелательным людям, чтобы скрывать свое отношение к его внешности, то постарался по возможности избегать любых контактов. Это касалось не только недостижимых созданий (сорокапятиминутная посадка в Сингапуре, и куколка в пестрых одеждах, покорно стоявшая возле зала ожидания), но также священника с его доброй женой и прочих. Библия на тонкой рисовой бумаге и в мягкой кожаной обложке ничем не могла ему помочь, равно как и его английский выговор и происхождение из метрополии, хотя Мэтти по своей наивности надеялся на это. Убедившись, что он не считает себя чем-то исключительным, не смотрит на Австралию свысока и не ждет особого к себе отношения, его коллеги утратили всякую доброжелательность – их злило, что они с самого начала обманулись в нем и лишились удовольствия над ним поиздеваться. Кроме того, случалось и досадное недопонимание.

– Меня не волнует, как там тебя зовут. Когда я говорю «Матей», так оно и есть, чтоб я сдох! – И, обращаясь к австралийскому коллеге мистера Пэрриша: – Он еще меня учит, как по-английски говорить!

Но уволился Мэтти из магазина скобяных товаров по очень простой причине. В первый же раз относя коробки с фарфором в отдел свадебных подарков, он обнаружил, что руководит этим отделом, делая его невыразимо опасным, хорошенькая накрашенная девушка. Он тут же понял, что путешествие не решило его проблем, и хотел было сразу вернуться в Англию, но это было невозможно. Он сделал все, что было в его силах, – то есть поменял работу, как только нашлась новая, на этот раз в книжном магазине. Владелец магазина, мистер Свит, был слишком близоруким и рассеянным, чтобы догадаться, какой помехой для коммерции может стать лицо Мэтти. Зато миссис Свит, не страдавшая ни близорукостью, ни рассеянностью, увидев Мэтти, сразу же поняла, почему люди перестали заходить в их магазин. Свиты были гораздо богаче, чем английские книготорговцы, жили в загородном доме, и вскоре Мэтти перебрался туда. Его поселили в крохотном коттедже, прилепившемся к главному зданию. Он выполнял

всякую случайную работу, а когда мистер Свит выучил его водить машину, стал ездить из дома в магазин. Однажды миссис Свит, отведя взгляд, заметила, что его волосы лежали бы аккуратнее, если бы он носил шляпу. Скорее какое-то глубинное самоощущение, нежели представление о собственном облике, заставило его выбрать черную шляпу с широкими полями. Она шла и к скорбной целой половине его лица, и к более светлой, но искаженной и пугающей левой половине, на которой рот и глаз были оттянуты книзу. Шляпа так хорошо закрывала багровый огрызок его уха, что люди редко замечали это уродство. Один предмет за другим – пиджак, брюки, ботинки, носки, свитер с высоким горлом, пуловер, – и Мэтти стал человеком в черном, молчаливым, отчужденным, с вечно тяготеющим над ним нерешенным вопросом:

«Кто я такой?»

Однажды, когда Мэтти привез миссис Свит в магазин и ждал ее, чтобы отвезти обратно, ему на глаза попался выставленный перед витриной лоток подержанных книг, продававшихся не дороже, чем по пятьдесят центов каждая. Одна из книг – в деревянной обложке, со стертым названием на корешке – заинтересовала его. Мэтти рассеянно взял книгу в руки – это оказалась старая Библия, из-за деревянного переплета более тяжелая, чем его собственная, в мягкой коже, но напечатанная на такой же бумаге. Он полистал знакомые страницы, внезапно остановился, перелистал назад, вперед, снова назад, наклонился над страницей, начал бормотать себе под нос, потом его голос совсем затих.

Одной из отличительных черт Мэтти была способность полностью выключать внимание. Чужие голоса могли литься сквозь него, не оставляя ни малейшего следа в его памяти. Вполне вероятно, что в австралийских церквях, которые он посещал все реже и реже, – и в английских церквях, и в далеком прошлом, на занятиях в интернате, – велась речь о трудностях перевода с одного языка на другой; но все объяснения померкли перед фактом, черным шрифтом на белой странице. В самой середине двадцатого века от несложного мира окружавших его людей Мэтти отделяло что-то вроде решетки, которая как бы сортировала и отфильтровывала девяносто девять процентов того, что полагается впитать человеку, и придавала оставшемуся одному проценту блестящую твердость камня. И сейчас Мэтти застыл с книгой в руках, подняв голову и ошеломленно уставив взор в витрину магазина.

Здесь все по-другому!

Ночью он сел за свой стол, положив перед собой обе книги, и стал сличать их слово за словом. Только глубоко за полночь он встал и вышел на улицу. Он шагал взад и вперед по прямой бесконечной дороге до утра, пока не настало время везти мистера Свита в город. Когда Мэтти вернулся и поставил машину в гараж, ему показалось, что он никогда раньше не замечал, насколько птичий щебет напоминает безумный хохот. Это так растревожило его, что он без всякой нужды начал стричь газон, чтобы спрятаться за шумом косилки. Едва ее мотор взревел, с высоких деревьев вокруг приземистого здания вспорхнула стая желтогрудых какаду и с нестройными криками понеслась над выгоревшим на солнце лугом, где паслись кони, к стоящему в миле от дома одинокому дереву, заполнив его суетой и шумом.

Вечером того же дня, выпив на кухне чаю, он достал обе Библии, открыл их титульные листы и перечитал каждый по несколько раз. Наконец откинулся на спинку стула и закрыл ту, что в кожаном переплете. Взяв ее, Мэтти вышел из дома, пересек ближайший газон и прошел мимо грядки к изгороди между огородом и склоном, уходящим к пруду, где разводили раков. Он посмотрел на залитые лунным светом травянистые просторы, тянувшиеся до неясных очертаний холмов на горизонте.

Потом он достал Библию и начал одну за другой вырывать из нее страницы, выпуская их из рук. Ветерок подхватывал трепещущие листы и уносил, переворачивая, прочь, – они терялись в высокой траве. Мэтти вернулся в коттедж, почитал Библию в деревянном переплете, машинально произнес молитву, лег в постель и уснул.

Так начался год, оказавшийся для Мэтти вполне счастливым. В какой-то момент в деревенской лавке появилась новая продавщица, хорошенькая девушка, и для Мэтти снова начались мучения; но она оказалась слишком хорошенькой, чтобы задержаться здесь надолго, и ее сменила другая, на которую он смотрел с умиротворенным безразличием. В удивительно светлом настроении он бродил по участку или по дому, шевеля губами, и целая сторона его лица была веселой, насколько может быть веселой половина лица. Он никогда не снимал шляпу в присутствии других людей, и по деревне пошли слухи, что он так и спит в ней, что было неправдой. Он не мог спать в широкополой шляпе, и все это прекрасно понимали; но сплетня казалась правдоподобной, отлично сочетаясь с его отчужденностью. Рассветное солнце и луна всегда заставляли его в постели – длинные пряди черных волос раскиданы по подушке, бледная кожа черепа и левая часть лица то возникают, то исчезают, когда он мечется во сне. Затем щебетали первые птицы, и он вскакивал, чтобы опять на несколько секунд нырнуть в постель, прежде чем встать окончательно. Умывшись, он садился и читал книгу в деревянном переплете – губы беззвучно шевелились, целая сторона лица хмурилась.

Его губы шевелились весь день: вел ли он культиватор по пыльной овощной грядке, разматывал ли шланг, стоял ли у светофора с мотором на холостом ходу, нес ли свертки, подметал ли, вытирал пыль, чистил...

Иногда миссис Свит, оказавшись рядом, слышала:

– ...одно серебряное блюдо, весом в сто тридцать сиклей, одна серебряная чаша в семьдесят сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанною с елеем, в приношение хлебное, 56 Одна золотая кадильница в десять сиклей, наполненная курением, 57 Один телец, один овен, один однолетний агнец, во всесожжение, 58 Один козел...

Иногда она слышала его голос в доме, он звучал все громче и громче; порой его заедало, как поцарапанную пластинку:

– 21 И сказал им... сказал им... сказал им... сказал им...

Затем миссис Свит слышала торопливые шаги и понимала, что Мэтти пошел к себе – заглянуть в открытую книгу на столе. Через несколько секунд он возвращался, и сквозь писк и скрип натираемого оконного стекла снова раздавалось:

– ...сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? 22 Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. 23 Если кто...

Счастливым год, с какой стороны ни взглянуть! Но оставалось кое-что – Мэтти сам так сказал себе в мгновение особенно яркого и четкого осознания, – шевелившееся под поверхностью. С тем, что лежит на поверхности, можно что-то сделать. Например, существовали четкие инструкции, как поступать, если человек сам себя осквернил. Но как быть, если то, что живет под поверхностью, не поддается определению, но существует там – *необходимость*, к которой не приложено никаких инструкций? *Необходимость* толкала его к тому, чего он не мог объяснить, а мог только принять с облегчением, когда бездействие становилось невыносимым. Так он выкладывал из камней узоры и совершал над ними пассы. Так он медленно высыпал пыль из горсти и выливал чистую воду в яму.

В тот год Мэтти перестал ходить в церковь, а она предприняла лишь формальные усилия, чтобы вернуть его в свое лоно. Разрыв с церковью был для него такой же *необходимостью*, как другие поступки, и пошел ему на пользу. Однако наступление следующего года, которое могло бы на привычный манер пройти как по маслу, не оставив следа нигде, кроме календаря, прозвучало для Мэтти скрипом несмазанной петли. Из Перта на Рождество и Новый год приехала овдовевшая сестра миссис Свит с дочерью. Вид девушки со светлыми волосами и такой же светлой кожей снова заставлял Мэтти до глубокой ночи шагать взад-вперед по дороге, обратив взор к небесам, как будто оттуда могла спуститься помощь. И вот – высоко в небе он увидел знакомое созвездие: Орион-охотник, сияющий, с воздетым пылающим мечом. Крик Мэтти

разбудил птиц, те встрепенулись, решив, что уже рассвет, и в тишине, наступившей, когда они успокоились, Мэтти осознал шарообразность Земли и ужас повисших в пустоте тел, колдовской путь солнца и спешащей впереди него луны. Затем он прибавил к этому беззаботность, с которой люди живут посреди величия и ужаса, и в нем скрипнула ржавая петля, а вопрос, никогда не покидавший его, изменился и прозвучал отчетливее.

Не – «кто я такой?».

«*Что я такое?*»

Там, на пустынной дороге в нескольких милях от Мельбурна, в первые часы нового года, он задал вопрос вслух и стал ждать ответа. Конечно, это было глупо, как и многие из его поступков. Все на мили вокруг было погружено в сон; и когда наконец Мэтти пошел прочь от места, где прокричал свой вопрос, ответа все еще не было, хотя солнце уже осветило холмы на горизонте.

Итак, шел второй год – зима и лето, весна и осень, хотя настоящей зимы не было, да и весны тоже. А вопрос становился все горячее и горячее под поверхностью его чувств и рассудка, накалялся все сильнее и сильнее, и наконец стал сниться ему ночь за ночью. Три ночи подряд ему снилось, как мистер Педигри повторяет свои ужасные слова, а потом просит о помощи. Но Мэтти был нем три ночи подряд, он метался под одеялом и пытался выговорить: «*Как я могу помочь, если не знаю, что я такое?*»

Проснувшись, он понял, что не стоит больше читать вслух отрывки из Библии. Как можно говорить или слушать, когда в тебе постоянно живет вопрос? И так как Мэтти не мог ответить на вопрос или понять, что он означает и как его задать, в его мозгу начали возникать – так же мучительно, как сам вопрос когда-то, скрипнув, приобрел новую форму, – определенные выводы. Мэтти понял, что должен уехать; временами он даже задумывался, не по этой ли причине другие люди иногда срываются с места и пускаются в странствия, подобно Аврааму. Правда, до пустыни было рукой подать, но как только Мэтти решил, что должен оставить насиженное место, он полусознательно ощутил необходимость двигаться на север, туда, где огненный росчерк Меча Ориона не так сильно задран вверх. Человеку, пускающемуся в путь оттого, что он не может оставаться на одном месте, чтобы задать направление, достаточно небольшого толчка. И все-таки Мэтти надолго застрял в полной невозможности что-то понять и успел вступить в свой четвертый австралийский год, прежде чем – как он мысленно называл это – отряхнуть прах Мельбурна со своих ног. Он не мог назвать ни истинную причину своего отъезда, ни то, что надеется найти, и потому потратил много времени на незначительные приготовления, которые должны были облегчить ему жизнь. Он редко тратил деньги и смог с нескольких зарплат купить очень маленькую, очень дешевую и, значит, очень старую машину. Он взял с собой Библию в деревянном переплете, запасные штаны, запасную рубашку, бритвенный прибор для правой стороны лица, спальный мешок и один запасной носок – в рационализаторском озарении он решил менять по одному носку в день. Мистер Свит дал ему немного денег сверх заработанного и то, что называется «рекомендацией», в которой упоминались его трудолюбие, скрупулезная честность и абсолютная правдивость. Насколько эти качества непривлекательны сами по себе, не подкрепленные чем-либо другим, может свидетельствовать то, что после прощания с Мэтти миссис Свит на радостях пустилась на кухне в пляс.

Мэтти же катил прочь с чувством греховного удовольствия. Его путь проходил вначале по знакомым дорогам, по которым он возил чету Свитов на воскресные прогулки, но он знал, что наступит момент, когда колеса укатятся дальше тех мест, где могли остаться отпечатки шин хозяйского «даймлера», в новый мир. И когда это случилось, он испытал мгновение не просто удовольствия, а чистого наслаждения, тем более греховного, что оно было частью его существа.

После этого Мэтти больше года работал в компании, строившей изгородь в окрестностях Сиднея. Это позволило ему подзаработать, держась большую часть времени вдали от людей. Он бы уволился раньше, но его маленькая машина серьезно поломалась, пришлось проработать лишних шесть месяцев, чтобы оплатить ремонт и двинуться дальше. Изнутри его жег вопрос, снаружи – воздух, становившийся все жарче на пути в Квинсленд. Под Брисбеном ему пришлось остановиться и найти новую работу. Однако там он задержался меньше, чем на любом из предыдущих мест, включая магазин скобяных товаров в Мельбурне.

Он устроился грузчиком на кондитерской фабрике, слишком маленькой, чтобы ее стоило механизировать. Раздраженные жарой – стояло лето – и его обликом, женщины наседали на управляющего, требуя уволить Мэтти: он-де постоянно на них пялится. На самом деле это они на него пялились, шептали: «Неудивительно, что крем киснет» и прочее в том же духе. Мэтти, считавший себя, подобно страусу, невидимым, если сам ни на кого не смотрел, был вызван к управляющему, и как раз тогда, когда ему возвращали бумаги, отворилась дверь и вкатился хозяин фабрики. Мистер Ханрахан был вдвое ниже Мэтти и вчетверо шире. Маленькие черные глазки, бегающие на жирном лице мистера Ханрахана, постоянно искали что-то в углу или за дверью. Услышав, почему увольняют Мэтти, он бросил косо́й взгляд на его лицо, потом на его ухо и, наконец, смерил его взглядом с головы до ног.

– А разве мы не именно такого парня ищем?

Мэтти показалось, что сейчас он получит ответ на свои вопросы. Но мистер Ханрахан всего лишь направился к двери и велел Мэтти ехать следом за ним. Мэтти сел в свой допотопный автомобиль, мистер Ханрахан – в свой новый, завел мотор, затем выскочил из машины, устремился к двери, распахнул ее и заглянул внутрь, в контору. Потом он аккуратно закрыл дверь, продолжая глядеть сквозь щель, пока она не пропала, и медленно вернулся к машине.

Дорога от фабрики шла через леса, поля и зигзагами взбиралась на холм. Дом мистера Ханрахана лепился к склону холма среди странных, замшелых, увитых орхидеями деревьев. Мэтти остановился позади новой машины и вслед за новым нанимателем поднялся по наружной лестнице в огромную гостиную со стеклянными стенами. С одной стороны открывался вид с холма вниз, на фабрику, которая отсюда казалась макетом самой себя. Не успев войти, мистер Ханрахан схватил с большого стола бинокль и направил его на этот макет. Свирепо рявкнув, он бросился к телефону и заорал:

– Моллой! Моллой! Там на заднем дворе бездельничают две девчонки!

В это время Мэтти изумленно рассматривал три остальные стеклянные стены. Они были сверху донизу зеркальными, даже двери, и эти зеркала не просто отражали, а искажали, так что Мэтти видел себя ушестеренным, растянутым с боков и сплюсненным сверху; сам мистер Ханрахан приобрел очертания дивана.

– Ха! – усмехнулся мистер Ханрахан. – Вижу, тебе нравятся мои стекляшки. Неплохой способ ежедневного умерщвления греховной гордыни, а? Миссис Ханрахан! Где вы?

Миссис Ханрахан возникла мгновенно, будто материализовалась из пустоты, – на фоне окна и зеркал открывающиеся двери казались солнечной рябью на воде. Она была тоньше Мэтти, ниже мистера Ханрахана и имела несколько потрепанный вид.

– Что, мистер Ханрахан?

– Вот он! Я нашел его!

– Бедняга! Как ему не повезло с лицом!

– Я покажу этим верги́хвосткам мужчину в доме! Девочки! Идите сюда, вы все!

По стенам прошла рябь, темные пятна и светлые вспышки.

– Семь моих дочек! – возгласил мистер Ханрахан, по-хозяйски их пересчитав. – Вы хотели мужчину в доме, так? Слишком много женщин, говорите? Ни одного молодого человека на милю вокруг? Я вам покажу! Вот вам новый мужчина в доме! Взгляните на него хорошенько!

Девочки встали полукругом. Близняшки Франциска и Тереза, едва из колыбели, но такие лапочки. Мэтти инстинктивно поднял руку, чтобы они не испугались левой, обращенной к ним стороны его лица. Бриджит, повыше, симпатичная и близоруко щурившаяся, Бернадетта, еще выше и симпатичнее, вполне созревшая, Сесилия, пониже, такая же милая и еще более зрелая, Габриэль-Джейн, от которой никто на улице не мог отвести глаз, и, наконец, старшая, одетая как на пикник Мэри-Мишель: кто хоть раз ее видел, был обречен.

Сесилия хлопнула себя ладонями по щекам и слабо вскрикнула, когда ее глаза привыкли к свету. Мэри-Мишель повернула голову на лебединой шее к мистеру Ханрахану и произнесла волшебные слова:

– О, папа!

Тогда Мэтти издал дикий вопль. Распахнув дверь, он бросился вниз по лестнице. Вскочил в машину и погнал по извивам дороги вниз с холма, декламируя фальцетом:

– Откровение Святого Иоанна Богослова. Глава первая. 1 Иоанн семи церквям, находящимся в Азии, и отмеченным семью подсвечниками. 7 Се грядет Иисус Христос. 14 Его славная сила и величие. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим...

Мэтти декламировал все так же пронзительно; но постепенно тон снижался, и, наконец, он прочел уже обычным голосом: «19 И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».

На конечном «Аминь» он заметил, что кончается бензин, и подрулil к колонке; а пока ждал, его сознание посетил образ Мэри-Мишель, и он снова ринулся наугад – и по дороге, и по книге:

– «22 Кина, Димона, Адада,
23 Кедес, Асор и Ифнан,
24 Зиф, Телем и Валоф,
25 Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор,
26 Амам, Шема...»

Вечером Мэтти добрался до Гладстона – это был большой город. Там он на несколько месяцев обрел покой, работая могильщиком.

Но все повторилось снова – вернулись и вопрос, и беспокойство, и необходимость ехать туда, где все станет просто и понятно. И Мэтти начал размышлять; вернее сказать, что-то внутри Мэтти начало размышлять и представило ему готовый результат. Таким образом, без участия осознанной воли он наткнулся на мысль: «*Все ли люди такие?*» К этой мысли прибавилась следующая: «*Нет, потому что у них обе стороны лица одинаковы.*»

Потом: «*Только ли лицом я отличаюсь от них?*»

«*Нет.*»

– Что я такое?

После этого он механически помолился. В Мэтти была одна странность. Молиться у него получалось не лучше, чем летать. Но сейчас, помолвившись в конце, как обычно, за всех людей, которых знал, он добавил еще одну просьбу, в том смысле, что если можно, он рад бы был облегчению своих собственных мук, и вслед за этим в его мозгу сразу же всплыла ужасная цитата: «*И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного.*» Эта мысль посетила его в самом подходящем месте – в могиле. И подняла его, как бы мгновенно воскресив, из могилы, и Мэтти смог выбросить цитату из головы только после многих миль пути вдоль побережья, в стране жестоких и злых людей. Сделать это ему помогли жестокие люди. Мэтти остановили полицейские, обыскали его и машину и предупредили: на дороге совершено убийство, причем не последнее, – но Мэтти поехал дальше, потому что не осмеливался ехать назад и ему больше некуда было ехать. На бензоколонке он взглянул на карту, но все прожитые в Австралии годы так и не научили его отличать страну от континента. Он

наивно ожидал, что до Дарвина осталось несколько миль пути с бензоколонками, продуктовыми магазинами и колодцами. Житейские знания его не слишком интересовали, а в Библии, хоть там много говорится о пустынях, нет ни слова о том, насколько часто встречаются в диких краях колодцы и заправочные станции. Поэтому он свернул с шоссе, и так уже начинавшего сходиться на нет, и вскоре окончательно заблудился.

Мэтти не испытывал страха. Не потому, что был храбрым. Просто он не догадывался об опасности. Он был *неспособен* пугаться. Машину трясло, кренило, заносило и подбрасывало, он думал, что хорошо бы попить, зная, что у него нет воды, и следил, как стрелка указателя бензина опускается все ниже и ниже, пока она не замерла на нуле, а впереди не было ничего, кроме едва заметной колеи; наконец, машина встала. В этом не было ничего драматичного, во всяком случае, происходящее не казалось трагедией. Машина остановилась среди низкорослых колючек, покрывавших песчаную почву. Над горизонтом поднимались только низкие силуэты трех далеких деревьев, раскиданные в его северной части. Мэтти долго сидел в машине. Он наблюдал, как перед ним опускается солнце, а небо было таким безоблачным, что даже на самой его кромке колючки раздирали солнечный диск, пока тот окончательно не скрылся из виду. Мэтти сидел и слушал звуки ночи, которые уже были ему вполне знакомы, и даже тяжелый топот большого животного в кустарнике ничуть его не испугал. Мэтти устроился на водительском месте, как будто оно для того и было предназначено, и заснул. Он проснулся только на рассвете, и разбудил его не свет, а жажда.

Мэтти не знал чувства страха, но мог чувствовать жажду. Он вылез из машины в зябкий рассвет и прошелся вокруг, словно мог набрести на пруд, закусочную или деревенскую лавку, а затем без всяких приготовлений и каких-либо размышлений зашагал вперед по колее. Он не оборачивался, пока не почувствовал, что почему-то стало тепло спине; он оглянулся и увидел встающее солнце. Машины под солнцем не было – только заросли. Мэтти пошел дальше. Солнце поднималось, и вместе с ним росла жажда.

Мэтти никогда не попадались книги по выживанию. Он не знал ни о растениях, хранящих влагу в утолщениях стеблей, ни о том, что можно копать ямки в песке или искать воду, наблюдая за поведением птиц; азарт любителя приключений тоже был ему чужд. Он чувствовал только жажду, обжигающее спину солнце и деревянный переплет Библии, бивший его по правому бедру. Ему, возможно, даже не приходило в голову, что можно идти и идти, а потом упасть, так и не найдя воды. И он шел вперед так же упрямо, как делал все в своей жизни, с самого ее начала.

К полудню с кустами стало происходить что-то странное. Они начали расплываться, словно мистер Ханрахан притащил их в свою диковинную гостиную. Это мешало разглядеть колею или то, что Мэтти за нее принимал, и он на минутку остановился, глядя под ноги и моргая. У его ног суетились большие черные муравьи, которых жара только бодрила и поощряла к труду, – они таскали огромные тяжести, как будто стремились к некоему свершению. Мэтти некоторое время разглядывал их, но это зрелище ничего ему не говорило о его нынешнем положении. Снова подняв глаза, он не сумел найти дорогу. Его собственные следы ничем не могли помочь – они поворачивали, теряясь из виду, а вокруг были одни кустарники. Он как мог внимательно осмотрел окружающую местность и заметил, что в одном направлении растительность будто бы гуще и выше. Он подумал, что это могут быть деревья, а где деревья – там тень, и решил идти туда, если только примерно в той стороне находится запад. Но в полдень в такой близости от экватора даже с секстантом очень трудно определить направление по солнцу, и все, что у Мэтти получилось, – поднять глаза, отступить на шаг и повалиться на спину. От удара у него перехватило дыхание, и на мгновение среди кружащихся лучей и вспышек в зените ему почудилось огромное пятно тьмы, напоминающее человеческий силуэт. Мэтти поднялся на ноги, и, конечно же, перед ним ничего не было, только солнце, посылающее вертикальные лучи: когда он снова надел шляпу, тень от ее полей легла ему на ноги. Он

отыскал прежнее направление и попытался сообразить, стоит идти туда или нет, но на ум приходили лишь библейские поучения о размерах медных морей. Они вызвали видение отблесков на воде, которые слились с зеркалами в гостиной мистера Ханрахана, а его собственные губы превратились в две каменные гряды посреди пустыни. И когда он продрался через кустарник, доходивший ему до плеча, перед ним предстало высокое дерево, все в ангелах. Увидев Мэтти, они захохотали, взлетели, описали круг и умчались в небеса, и он ясно понял, что они звали его с собой и смеялись над тем, что он не умеет летать. Но он еще мог передвигать ноги и продолжал протискиваться сквозь заросли, пока не оказался под деревом, повернувшим листья ребром к солнцу и потому не дававшим тени; вокруг дерева было лишь небольшое пятно голой песчаной почвы. Мэтти прислонился спиной к дереву и поморщился от боли – солнце обожгло его сквозь куртку. Затем на краю голой песчаной почвы возник человек – это был абориген. Мэтти узнал в нем ту фигуру, которая висела в воздухе между ним и солнцем, когда он упал. Теперь Мэтти мог рассмотреть ее во всех подробностях. Абориген оказался вовсе не высоким, наоборот, довольно маленьким, но очень тощим, от этого он и казался выше. Деревянное копьё с обугленным наконечником, которое абориген держал вертикально, было длиннее их обоих. Лицо аборигена, как видел его Мэтти, окутывала дымка, что было не так уж странно, ведь он материализовался под солнцем из воздуха. И был совершенно голым.

Мэтти отступил на шаг от дерева и попросил:

– Воды.

Абориген подошел и уставился ему в лицо. Потом, дернув подбородком, заговорил на своем языке. Он взмахнул копьем, описав в воздухе огромную дугу, которая захватывала солнце.

– Воды!

Мэтти указал на дымку, скрывавшую рот аборигена, затем на свой собственный рот. Абориген показал копьем на самые густые заросли кустарника. Затем достал из воздуха маленький отполированный камень, присел на корточки, положил камень на песчаную почву и что-то забормотал над ним.

Мэтти испугался. Он вытащил из кармана Библию и заслонил ею камень, но абориген продолжал бормотать. Мэтти закричал:

– Нет, нет!

Абориген уставился на Библию без всякого выражения. Мэтти засунул ее обратно в карман.

– Смотри!

Он провел ногой в песке линию, потом вторую поперек первой. Абориген уставился на линии, ничего не говоря.

– Смотри!

Мэтти бросился на землю и лег, вытянув ноги вдоль первой линии, а руки широко раскинув вдоль второй. Абориген тут же вскочил на ноги. Дымку на его лице рассклала широкая белая вспышка.

– Сраный большой небо-парень его родом Иисус Христос!⁶

Он подпрыгнул в воздух, приземлился на раскинутые руки Мэтти – ступнями на сгибы локтей – и вонзил свое копьё с обугленным наконечником по очереди в каждую ладонь, затем опять высоко подпрыгнул и обеими ногами опустил Мэтти на пах. Небо почернело, и абориген пропал. Мэтти скорчился как лист, как рассеченный червяк, и волны тошноты, усиливаясь, хлестали его болью, пока не унесли сознание прочь.

⁶ Абориген говорит на исковерканном английском. Его фраза «большой небо-парень его родом Иисус Христос» означает «Иисус Христос, сын Божий». – *Примеч. пер.*

Очнувшись, он понял, что все тело у него страшно распухло, и попытался ползти на четвереньках, но тошнота снова поглотила его. Со свойственным ему упрямством он встал, хотя мир качался перед глазами, широко расставил ноги, взялся руками за низ живота, чтобы оттуда ничего не вывалилось, и пошел туда, где, кажется, раньше видел за кустарниками какое-то уплотнение. Но миновав его, он оказался на открытом пространстве с виднеющимися чуть поодаль деревьями. Через открытое пространство протянулась, насколько хватало глаз, проволочная изгородь под током. Мэтти машинально повернул, намереваясь идти вдоль забора, но за спиной засигналила машина. Он терпеливо и молча стоял, а машина оказалась «лендровером», который медленно подкатил к его левому плечу и остановился. Из машины вылез человек и подошел к нему. Человек был в рубашке с открытым воротом, джинсах и надетой набекрень широкополой австралийской шляпе. Он вглядывался в лицо Мэтти, а Мэтти ждал, покорно, как животное, поскольку ни на что другое уже не было сил.

– Чтоб я сдох! Кто тебя так? Друг? Приятель? Где этот тип?

– Воды.

Человек заботливо повел его к «лендроверу», то и дело цокая языком, как будто Мэтти был лошадь.

– Ну и отделали тебя, парень! Что с тобой случилось? Десять раундов с кенгуру? Напей! Не спеши!

– Распяли...

– Где он, твой противник?

– Абориген.

– Ты встретил аборигена? Он тебя распял? Ну-ка, покажи руки. Ничего страшного, царапины.

– Копье.

– Маленький тощий тип? С маленькой толстухой на сносках и двумя пацанятами? Это Гарри Бумер. Чертов козел. И небось прикидывался, что английского не понимает, да? И вот так головой крутил, да?

– Только один абориген.

– Они, видать, жуков искали, в смысле другие. Совсем возомнил о себе после того, как о нем фильм сняли. Туристам проходу не дает. Ну-ка, давай посмотрим на твои причиндалы, приятель. Повезло тебе. Я – ветеринар, ясно? А где твой приятель?

– Я один.

– Ох ты боже мой! Ты тут один был? Ты мог ходить кругами без конца. Да, кругами. А теперь давай-ка осторожненько приподнимись. Сейчас я просуну руку и стяну с тебя штаны. Ох ты боженька ты мой, как говорят у нас в Австралии. Если бы ты был бычком, я бы сказал – грубо тут поработали. Ни хрена себе! Давай-ка их перевяжем. Конечно, мне по роду службы приходится делать нечто противоположное, если ты меня понимаешь.

– Машина. Шляпа.

– Всему свое время. Главное, чтобы Гарри Бумер не нашел их раньше, козел неблагодарный. Зачем его только учили? Раздвинь их пошире. Будем надеяться, что он не лишил тебя способностей, не уничтожил твои какие-никакие семейные драгоценности. Я, бывает, смотрю на быка и думаю: что бы он обо мне сказал, если бы умел говорить? Что у тебя в кармане? Ты проповедник, что ли? Неудивительно, что Гарри... Так, лежи тихо. Держись руками. Будет трясти, но тут ничего не поделаешь, да и больница неподалеку. Ты что, не знал, что был почти в пригороде? Ты ведь не думал, что ты где-то в глухомани, правда?

Он завел мотор, «лендровер» тронулся. Очень скоро Мэтти снова потерял сознание. Ветеринар, оглянувшись и увидев, что он отключился, нажал на газ, проскочил песчаную полосу и выехал на проселочную дорогу.

– Надо бы в полицию заявить, – бормотал он себе под нос. – А, к черту, только лишние проблемы! Поймать-то старину Гарри несложно, но ведь дюжина приятелей тут же его выгородит. Да и этот бедолага не отличит их друг от друга.

Глава 5

Мэтти пришел в себя в больнице. Его ноги были закреплены на растяжках, и он не чувствовал боли. Боль пришла позже, но его упрямая душа и не такое могла перетерпеть. Гарри Бумер – если это был он – так и не добрался до машины, ее вернули Мэтти вместе с запасной рубашкой, штанами и третьим носком. Его Библия в деревянном переплете лежала на ночном столике рядом с кроватью, и он продолжал учить из нее отрывки. Какое-то время его лихорадило, и он бормотал что-то нечленораздельное, но когда температура спала, снова замолчал. Он оставался невозмутимым. Медсестрам, проводившим с ним очень интимные процедуры, его невозмутимость казалась неестественной. Они говорили, что он лежит как бревно и, сколь унижительной ни была бы процедура, переносит ее молча, с бесстрастным лицом. Дежурная сестра дала Мэтти аэрозоль, чтобы он мог охлаждать свои гениталии, деликатно объяснив, что малейшее возбуждение грозит ему разрывом некоторых сосудов, но Мэтти им ни разу не воспользовался. Наконец ему отвязали ноги и разрешили садиться, переворачиваться, ковылять с палочками, а затем и ходить. В больнице его лицо приобрело такую неподвижность, что теперь все его увечья казались на нем нарисованными. От долгого лежания движения Мэтти стали более скованными. Он больше не хромал, но ходил, слегка расставив ноги, как будто только что вышел из тюрьмы и его тело еще не забыло о кандалах. Ему показывали фотографии разных аборигенов, но, просмотрев дюжину, он повторил великое изречение белого человека:

– Для меня все они на одно лицо.

Такой длинной фразы он не произносил уже много лет.

О его приключении написали газеты, и в его пользу был организован сбор средств, так что без денег он не остался. Люди принимали его за проповедника. Однако тех, кто с ним сталкивался, озадачивали его немногословность, его ужасное, мрачное лицо и отсутствие у него определенных целей и взглядов. Но вопрос, живший в Мэтти, все так же требовал внимания, изменившись и став еще назойливее. Из первоначального *«Кто я такой?»*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.